





Федор СОЛОГУБ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РОМАНОВ В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА

Москва
2012

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос)6-5
С60

Серия основана в 2007 году

Сологуб Ф.

С60 Полное собрание романов в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2012. — 1273 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-1168-9

Федор Сологуб (Тетерников Федор Кузьмич, 1863 — 1927) — выдающийся русский писатель, поэт, драматург, теоретик символизма. В томе собраны все романы этого яркого представителя литературы Серебряного века: «Тяжелые сны» (1895), «Мелкий бес» (1905), «Творимая легенда» (1907 — 1914), «Слаще яда» (1912), «Заклинательница змей» (1921).

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос)6-5

ISBN 978-5-9922-1168-9

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2012

ТЯЖЕЛЫЕ СНЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

К третьему изданию

Роман «Тяжелые сны» начат в 1883 году, окончен в 1894 году. Напечатан в журнале «Северный вестник» в 1895 году, с изменениями и искажениями, сделанными по разным соображениям, к искусству не относящимся. Отдельно напечатан первым изданием в 1896 году, но и тогда первоначальный текст романа не вполне был восстановлен по тем же внешним соображениям. Для третьего издания в 1908 году роман вновь просмотрен автором и сличен с рукописями; редакция многих мест изменена.

Много лет работать над романом — а всякий роман не более как книга для легкого чтения, — можно только тогда, когда есть надменная и твердая уверенность в значительности труда. Проходят долгие, тягостные дни и годы, и все медлишь, и не торопишься заканчивать творение, возникающее «*lentement, lentement, comme le soleil*»¹.

Создаем, потому что стремимся к познанию истины; истинною обладаем так же, в той же мере и с тою же силою, как любим.

Сгорает жизнь, пламенея, истончаясь легким дымом, — сжигаем жизнь, чтобы создать книгу.

Милая спутница, изнемогающая в томлениях суровой жизни, погибнет, и кто оценит ее тихую жертву? Посвящаю книгу ей, но имени ее не называю.

Сентябрь 1908 года

ОТ АВТОРА

К четвертому изданию

Предисловия рождают споры. Может быть, потому, что легче говорить об одной страничке или о двух, чем о целой книге.

Мое предисловие к третьему изданию «Тяжелых снов» также не осталось без опровержения со стороны критиков. Один из них даже написал очень большую статью, в которой, на основании тщательного сравнения первого и третьего изданий этого романа, доказывает, что я

¹ Медленно, медленно, как солнце (*фр.*).

в своем предисловии сказал неправду. Аргументация старательного и трудолюбивого критика кажется довольно убедительною, но все-таки приводит его к неверным заключениям; например, о некоторых страницах, написанных до первого появления романа в «Северном вестнике», он говорит, что они написаны нарочно для третьего издания. Это произошло, мне кажется, оттого, что критик счел излишним обратиться к первоисточнику, т. е. к рукописям.

Читать по писаному, конечно, труднее, чем читать по печатному, но я слышал, что люди, желающие произвести точное исследование и установить истину, предпочитают почему-то именно вот этот, более трудный способ работы.

Декабрь 1909 года

Глава первая

Начало весны. Тихий вечер... Большой тенистый сад в конце города, над обрывистым берегом реки, у дома Зинаиды Романовны Кульчицкой, вдовы и здешней богатой помещицы...

Там, в доме, в кабинете Палтусова, двоюродного брата хозяйки (впрочем, никто в городе не верит в их родство), играют в винт сам Палтусов и трое солидных по возрасту и положению в нашем уездном свете господ. Их жены с хозяйкою сидят в саду, в беседке, и говорят, говорят...

Хозяйкина дочь, Клавдия Александровна, молодая девушка с зеленоватыми глазами, отделилась от их общества. Она сидит на террасе у забора, что выходит на узкую песчаную дорогу над берегом реки Мглы. С Клавдией один из гостей: он в карты не играет.

Это — Василий Маркович Логин, учитель гимназии. Ему немного более тридцати лет. Его серые близорукие глаза глядят рассеянно; он не всматривается пристально ни в людей, ни в предметы. Лицо его кажется утомленным, а губы часто складываются в слабую улыбку, не то лениво-равнодушную, не то насмешливую. Движения его вялы, голос незвонкий. Он порою производит впечатление человека, который думает о чем-то, чего никому не скажет.

— Скучно... Жить скучно, — сказал он, и разговор, казалось, интересовал больше Клавдию, чем его.

— Кто же заставляет вас жить? — быстро спросила Клавдия.

Логин подметил в ее голосе раздражение и усмехнулся.

— Как видите, пока еще не сумел избавиться от жизни, — ленивым голосом ответил он.

— А это так просто! — воскликнула Клавдия.

Зеленоватые глаза ее сверкнули. Она засмеялась недобрый смехом.

— Просто? А именно? — спросил Логин.

Клавдия сделала угловатый, резкий жест правой рукою около виска:

— Крак! — и готово.

Ее узко разрезанные глаза широко раскрылись, губы судорожно дрогнули, и по худощавому лицу пробежало быстрое выражение ужаса, словно она вдруг представила себе простреленную голову и мгновенную боль в виске.

— А! — протянул Логин. — Это, видите ли, для меня уж слишком просто. Да ведь этим и не избавишься ни от чего.

— Будто бы? — с угрюмою усмешкою спросила Клавдия.

— Есть запросы, жажда томит, не унять всего этого огнестрельным озорством... А может быть, просто ребяческий страх... глупое, неистребимое желание жить... впотьмах, в пустыне, только бы жить.

Клавдия взглянула на него пылливо, вздохнула и опустила глаза.

— Скажите, — заговорил опять Логин после короткого молчания, — вам жизнь какого цвета кажется и какого вкуса?

— Вкус и цвет? У жизни? — с удивлением спросила Клавдия.

— Ну да... Это же в моде — слияние ощущений...

— Ах, это... Пожалуй, вкус — приторный.

— Я думал, вы скажете: горький.

Клавдия усмехнулась.

— Нет, почему же! — сказала она.

Старые вязы наклоняли ветви, словно прислушиваясь к странному для них разговору. Но не слушали и не слышали. У них было свое. Стояли, безучастные к людям, бесстрастные, бездумные, со своею жизнью и тайною, а с темных ветвей их падала, как роса, отрясаемая ветром, прозрачная грусть.

— А цвет жизни? — спросил Логин.

— Зеленый и желтый, — быстро, не задумываясь, с какою-то даже злостью в голосе ответила Клавдия.

— Надежды и презрения?

— Нет, просто незрелости и увядания... Ах! — воскликнула она внезапно, как бы перебивая себя самое, — есть же где-то широкие горизонты!

— Нам-то с вами что до них? — угрюмо спросил Логин.

— Что?... Душно мне — и страшно... Я заметила у себя в последнее время дурную повадку оглядываться на прошлое...

— И что же вам вспоминается?

— Картинки... милые! Детство — без любви, озлобленное. Юность — муки зависти, невозможность желаний... крушение надежд... идеалов! Да, идеалов, — не смейтесь, — были все-таки идеалы, — как ни странно... Вперед стараешься заглянуть — мрак.

— А над всем этим — кипение страсти, — сказал Логин неопределенным тоном, не то насмешливо, не то равнодушно.

Клавдия задрожала. Ее глаза и потемнели, и зажглись бешенством.

— Страсти? — воскликнула она сдавленным голосом.

— Конечно! Вас томит не жажда истины, а просто, выражаясь грубо и прямо, страсть.

— Что вы говорите! Какая страсть? К чему?

— Неопределенные порывы, чувственное кипение... возраст такой, — да и пленено юное сердце демонической красотой очаровательного скептика.

— Вы про Палусова?... Если б вы знали, чем он был в моей жизни! Если бы вы могли это себе представить.

— Развивателем?

— Оставьте этот тон, — раздражительно сказала Клавдия.

— Простите, я ненарочно, — ответил Логин искренним голосом.

— Когда еще я была девочкою, — страстно и торопливо заговорила Клавдия, — когда он еще обращал на меня внимание не больше, чем на любую вещь в доме, я уже была захвачена чем-то в нем... мучительно захвачена. Что-то неотразимое, хищное, — как коршун захватывает цып-

ленка. Мне иногда хотелось... не знаю, чего хотелось... Дикие мечты зажигались... Впрочем, я всегда ненавидела его.

— За что?

— Разве можно это знать! Может быть, за пренебрежительную усмешку, за дерзость речи, за то, что мать... вы знаете, он имеет на нее влияние.

Клавдия улыбнулась странно, не то злою, не то смущенною улыбкою.

— За это особенно, — тихо сказал Логин, — ревность, не правда ли?

— Да, да, — порывисто и волнуясь отвечала Клавдия. — Потом, не знаю как, мы начали сходитьсь. Не помню, с чего это началось, — помню только мою злую радость. Долгие беседы, жуткие, жгучие, — поток новых мыслей, смелых, злых... Открылись заманчивые бездны... Но я ненавижу их... Я бы хотела бежать от всего этого!

— Куда?

— Почему же я знаю? Я вижу сны, я боюсь, — чего, сама не знаю... Точно боишься взять что-то чужое... А что мне она, эта жена его далекая, которая не живет с ним, которой я и не видела никогда!.. Может быть, она несчастна... или утешилась?.. Стоишь точно перед рогаткою, за которую не велено входить... Он издевается над этим... суеверием...

— А вы знаете, — внезапно сказал Логин, переходя к другому, — и я был влюблен в вас.

— Да?

Клавдия принужденно засмеялась и покраснела.

— Благодарю за честь, — досадливо сказала она.

— Нет, в самом деле.

— Не сомневаюсь.

Логин слегка наклонился к ней и заговорил задушевым голосом:

— Не сердитесь на мои слова, — мне тяжело было терять и эти надежды. Я думал тогда: отчего для меня должно оставаться запрещенным счастье, широкое, вольное? Отчего не идти рука об руку со смелую подруною туда, где мечтались мне новые, широкие просторы? Отчего? — тихо спросил он и взял ее тонкую руку с длинными пальцами.

Клавдия не отымала руки. Плечи ее тихонько вздрагивали. Ее зеленые глаза горели.

— Да, — продолжал Логин, — мечтались мне широкие пути... И вдруг увидел я, что это было чувство, искусственно согретое...

Встал, прошелся по террасе. Клавдия молчала и следила за ним странно горящими глазами. Легкое веяние доносилось с реки. Ветви вязов слегка колыхались. Логин остановился перед Клавдией.

— А впрочем, — сказал он, — мне кажется, для каждого из нас есть свой путь... трудный и неведомый.

— Покажите мне его! — с порывом несколько диким воскликнула Клавдия и протянула к нему руки широким и быстрым движением.

— Да я сам хотел бы, чтобы мне его открыли, — угрюмо сказал Логин. — Было время, мне казалось... В чьих-то руках мерещился светоч...

— У вас есть свои светочи.

— В том-то и горе, что их нет. Мираж — все эти мои планы, — жажда обмануть свою душу...

— Какой светоч мерещился вам? — печально спросила Клавдия.

— Что-то неожиданное... Неизъяснимое очарование веяло... Что-то не русское, чуждое всему, что здесь... Я все ждал, что вот-вот случится необычайное, невозможное... Но ничего не случилось, — дни умирали однообразно и скучно, как всегда... Посмотрел я пристально в себя самого — и нашел в себе все ту же всечеловеческую дерзость, задорную и бессильную, и тот же тоскливый вопрос о родине... Идите к нему, — небо и землю создаст он вам.

Клавдия хотела ответить. Но раздались шаги и голоса приближающихся дам, и Клавдия промолчала.

Логин возвращался домой поздно ночью, по безлюдным и темным улицам. Думал о Клавдии. Щемящая жалость к ней наполняла его душу.

Отец Клавдии умер, когда ей было лет пять. Ее мать сошлась с инженером Палтусовым. Он был женат, и не жил с женою. Кульчицкая выдавала его за двоюродного брата. Так прожили они несколько лет, то в нашем городе, то странствуя по чужим землям. В последнее время Палтусов охладел к увядающей красоте Кульчицкой. Его потянуло к Клавдии. Они начали сближаться как-то странно, словно враждующие друг с другом. Мать заметила их сближение. Начала ревновать. Клавдия не любила матери. Но ее тяготила мысль о бесправной связи, которую люди осудят.

Логин и сам наверное не знал, за что он жалеет эту девушку: за то ли, что мать ее никогда не любила и холодное детство обезобразило ее страстную душу? За то ли, что она полюбила чужого мужа, любовника ее матери, — и не могла разобраться в тех отношениях, которые порождены были этою любовью? За то ли, что Палтусов разбил в ней первоначальные верования и ничем не могла она заменить их?

Логин вспомнил, что нежная жалость к Клавдии давно томила его, — томила тем сильнее, что он чувствовал, как родственны их натуры. Эту жалость принял он когда-то за любовь к Клавдии. И так напряженно было это его чувство, что оно нашло себе отклик и в самой Клавдии. Между ними установилась странная полукровенность, взаимное испытывание друг друга, взаимная смута. Установилось и взаимное понимание с полуслова. Но ничего не вышло из этих напряженных отношений: назвать свое сближение любовью они не могли, а лгать себе самим не хотели.

Теперь Логин думал, что и не могла зажечься любовь в его преждевременно одряхлелом сердце. Давно уже привык он топить всякий порыв своего сердца в бесплодных и бессильных размышлениях, в ленивых и сладостных мечтах, в страданиях и утехах одиноких и странных, о которых он никому не мог рассказать. Он теперь ясно вспоминал, как быстро эта удивительная жалость к Клавдии претворилась в чувственное влечение, — и мечты окрасили это влечение жестокостью.

Угасло ли это низменное влечение теперь, он еще не знал, но уже уверен был в его незаконной природе. Заманчиво было бы бросить Клавдии год, два жгучих наслаждений, под которыми кипела бы иная, разбитая... ее любовь. А потом — угар, отчаяние, смерть... Так представлялось ему будущее, если бы он сошелся с Клавдиею... Чувствовалось ему, что невозможна была бы мирная жизнь его с нею, — слишком

одинаковым злым раздражением отравлены были бы оба, — и, может быть, оба одинаково трудно любили тех, от кого их отделяло так многое...

Но отчего же все-таки он, усталый от жизни, не взял этого короткого и жгучего полусчастья, полубреда? Что из того, что за ним смерть? Ведь и раньше знал он, что идет к мучительным безднам, где должен погибнуть! Что отвращало его от этой бездны? Бессилие? Надежда?

Перед ним раскрывались иногда в его мечтаниях иные, доверчиво-чистые глаза, светилась ласковая улыбка. Может быть, это зажигалась чистая, спасительная любовь, но не верил в нее Логин. Чужой, далекий свет являлся ему в тех доверчивых глазах, и бездна казалась ему непородимой...

Логин жил на краю города, в маленьком домике. В мезонине устроил кабинет; там и спал; в подвальном этаже была кухня и помещение для служанки; середину дома занимали комнаты, где Логин обедал и принимал гостей. Наверх к себе приглашал немногих. Здесь он жил: мечтал, читал.

Книжные шкапы и полки для книг занимали много места в кабинете. На этажерке лежало десятка полтора новых книг. Еще немногие из них были разрезаны. Письменный стол наполовину загромождали тетради, справочные книги, учебники. На кучке тетрадок в синих обложках лежал томик стихотворений, заложенный деревянным белым ножом с выжженным рисунком.

Логин подошел к широкому окну кабинета. Перед ним лежал темными горами деревянных домов мирный, сонный город. От огородов и заборов подымались к Логину, как доверчиво простертые руки, наивные и скучные впечатления. Влажною казалась мгла пустых улиц; тишина их была чужда Логину и непонятна ему. Чем-то утраченным и уже ненужным веяло на него.

Опустил шторы и зажег лампу. Красное одеяло на кушетке неприятным, надоедливым пятном бросилось в глаза.

Еще не хотелось спать. Любил по вечерам, лежа в постели, подолгу читать. Но сегодня и читать не хотелось. Спустился в столовую и принес оттуда мадеру и бисквиты.

Мысли о Клавдии томили его. Налил вино в стакан и медленно пил. Больные и нелепые мечты роились, — и вдруг сменялись мечтами наивными, как детские сказки в далеких и мирных долинах. Душа колебалась, как на качелях, от близкого и влекущего, но запрещенного, к невозможному, но желанному и святому.

Пил стакан за стаканом. Наивные грезы жалобно умирали, — все жарче и нелепее пылали безумные мечты...

Пьяный угар, томительно-сладкое кружение... Отяжелелая голова клонится. В глазах багряно и туманно.

Тихий шелест у дверей. Не хочется обернуться. Или это только шумит в ушах?

Шелест около косяка повторяется. Словно кто вошел, задевая юбку за дверь, и стоит теперь, тихонько двигаясь, у двери... Но Логин знает, что там некому быть. Он один — угрюмая служанка спит внизу, ни-

кого больше нет в доме, и двери все заперты. А шелест, настойчивый, тихий, все повторяется, как будто нетерпеливый стоит там, у косяка.

Логин облокотился на письменный стол правую рукою и обернулся. Кто-то стоял у дверей. В тумане колебались стены комнаты. Логин поднялся было с места, шатаясь, но сейчас же опять сел и тупо глядел на дверь.

У двери стояла красивая, румяная молодая баба. Широкая улыбка ее была бесстыдна и безоглядно-весела. Ее лицо было знакомо Логину, — но не сразу припомнил, кто это.

Пристально рассматривал ее, — а она стояла и перебирала руками кончики надетого на голове пестрого платочка. Лицо ее рдело, и зубы, ровные и красивые, сверкали из-под алых губ, широких, вздрагивающих от улыбки.

Наконец припомнил. Молодую красавицу звали Ульяною. Она была женою безземельного крестьянина ближней деревни; служила ключницею у Мотовилова, почетного попечителя гимназии. Вспомнил и мужа Ульяны: пропойца Спирька часто шлялся по городским улицам; кормился он случайными работишками да подачками жены. Городская сплетня давно разнесла, что Ульяна в близких отношениях с Мотовиловым. И Спиридон начинал этому верить. Встречая на улице Мотовилова, он мрачно на него поглядывал и дерзко выпрашивал подачки. Мотовилов давал иногда по пятаку, на что Спирька говаривал:

— Благодетель, — пропью за твое здоровье, а ты владай.

Все это вспомнилось теперь Логину.

— Да это вы, Ульяна? — спросил он.

— Я, — тихонько ответила красotka и стыдливо потупилась.

Но бесстыжие глаза ее тотчас же бойко глянули из-под густых ресниц, румянец еще ярче зарделся на щеках, и в пьяном воздухе душной комнаты пронесся тихий, задорный смешок.

— Вы от Алексея Степановича?

— Нет, я от себя, — отвечала Ульяна, играя веселыми глазами.

— Как вы попали? кто вас впустил? разве не заперто?

— В то самое окошечко.

— В какое окошечко? — в недоумении спрашивал Логин.

— А как сказали тогда: второе от угла; так и оставили открытое, — то самое окошечко, да.

— Да какое такое окошечко? Кто сказал вам об окошечке?

— Ну вот, уж и забыли. Сами же велели прийти.

— Когда? — угрюмо спросил Логин.

— Да в прошлое воскресенье, — объясняла Ульяна, словно досадовала на его забывчивость, — когда вы у наших господ в гостях были.

— Что за вздор!

— В коридоре меня встретили, да и говорите: приходи, мол, в среду вечером, ждать буду, — вот я и пришла. Раньше никак не способно было, — в силу вырвалась.

— Тебе послышалось, — лениво сказал Логин. — На что ты мне?

Ульяна звонко засмеялась. Назойливый смех дразнил и обольщал Логина. Он смотрел на Ульяну с недоумением и досадою. Она была та-

кая розовая и пышная, от нее точно веяло жаром. Темные косы выбивались из-под платочка. А кончики платочка торчали в разные стороны, и узел расползался...

Розовый туман опять начал расстилаться перед глазами Логина. Голова сладко и томно закружилась. Фигура Ульяны расплывалась в тумане.

«Да это сон, бред!» — подумал он.

Ульяна сделала шага два вперед. Она неслышно ступала и странно колебалась. Складки длинной юбки колыхались и едва приоткрывали кончики белых ног.

— Что ж, садись, красавица, коли пришла, — сказал Логин.

— Ничего, постою, — отвечала Ульяна.

Ее плутоватые глаза забегали по комнате. Вдруг она пригорюнилась, подперла рукою щеку и заговорила что-то жалостное: о мужепьянице, о горьком сиротстве и одиночестве своем, о даром увядающей красоте. Она выговаривала слова тихо, но отчетливо, словно быстро и умело отбирала крупные пшеничные зерна. Все быстрее и слаще журчала ее заунывная речь. Все ближе подвигалась она к Логину. И уже ощутил он ее теплую и томную близость.

— Приласкайте меня! — шепнула она, и вся зарделась, и задрожала, и закрылась руками.

А сквозь раздвинутые слегка пальцы глянули задорные, веселые глаза.

Логин вылил в стакан остатки вина и жадно выпил его...

Багровый туман застилает комнату. Лампа светит скупо и равнодушно. Назойливая румяная улыбка...

Падают широкие одежды... Алые, трепещущие пятна сквозь багровый туман... Так близко знойное тело...

Кто-то погасил лампу...

Глава вторая

По утрам в будни Логин всегда бывал в мрачном настроении. Знал: придет в гимназию и встретит холодных, мертвых людей. Они равнодушно отбывают свою повинность, механически выполняют предписанное, словно куклы усовершенствованного устройства. Но не любят этого предписанного, стараются затратить на него поменьше сил, мечтают о картах. Знает Логин, что и от него ждут такого же бездушного отношения к делу. Он должен быть как все, чтобы не раздражать сослуживцев.

Когда-то он влагал в учительское дело живую душу, — но ему сказали, что он поступает нехорошо: задел неосторожно чьи-то самолюбия, большие от застоя и безделья, столкнулся с чьими-то окостенелыми мыслями — и оказался, или показался, человеком беспокойным, неуживчивым. Не понимали, из-за чего он хлопочет: не все ли ему равно, так или иначе поступят с тем или другим мальчиком? Его перевели, чтобы прекратить ссоры, в другую гимназию, в наш город, и объявили на язвительно-равнодушном канцелярском наречии, что он переводится «для пользы службы». И вот он целый год томится здесь тоскою и скукою.

Он встал рано. После выпитого вечером вина ему часто не спалось по утрам, и он пробуждался раньше обычного.

Голова тупо болит: выпил слишком много. Во всем теле чувствуется томность. Ясное утро кажется тоскливым, одиноко и грустно в его холостецкой квартире. Угрюмое лицо служанки, изрытое оспою, усиливает его тоску.

Безумные воспоминания смутно и беспорядочно толпятся в отяжелелой голове. Вспоминается ночь и странное посещение... В глаза так и мечется Ульяна, румяная, смеющаяся.

В кабинете никого уже не было, когда он проснулся. Не может решить, приходила ли Ульяна или это был ночной бред. Томится тоскою более ранних, полузабытых, грубых воспоминаний. Разверстые уста двух мрачных бездн зияют за ним, и не понять ему, из которой бездны подняло его грустное, светлое вешнее утро невозможно-наивною зарею.

Спустился вниз и ходит в гостиной и столовой. Боязливо смотрит на окна. Никто еще не отворял их с ночи. Их медные задвижки отчищенным блеском удручают глаза. Всматривается в эти задвижки и никак не может решиться подойти к окну.

Злобная досада на себя наконец охватила его. Порывисто подошел к окну, второму от угла, и схватился за задвижку — она с легким взвизгиваньем вышла из медного влагалища.

«Бред, бред! — тоскливо думал Логин. — Да нет, не может быть! От какого угла второе окно? Может быть, второе от двора».

Торопливо перешел из столовой в гостиную и бросился ко второму окну — оно было только притворено и не заперто на задвижки... Хрипый, короткий смех вырвался из его груди. Он широко распахнул окно и, перегнувшись через подоконник, жадно всматривался во что-то...

Пыльная травка внизу, повыше — узкий выступ фундамента и сероватые доски, которыми обшит дом. Этот ли ветер, который теперь упруго и влажно бьет в лицо Логина, уничтожил следы? Или длинная Ульянина юбка смела пыль с выступа над фундаментом? Или и не было никаких следов?

Логин внимательно всматривался в скупую, сорную землю дороги, но и там ничего не находил.

После томительно проведенного в гимназии утра Логин вернулся домой и принялся за работу. Недавно задумал он основать в нашем городе союз взаимопомощи, с довольно широкими целями. Теперь хотел набросать на бумаге проект устава, чтобы показать тем, кто первые отзвались на его мысль.

Может быть, не столько в мыслях, сколько в смятенных чувствах Логина находил себе пищу этот замысел. Он навеян был давнею тоскою, холодом жизни эгоистичной и полной случайностей... Много видел Логин отвратительных и презренных дел, видел гибель многих и каменное равнодушие остающихся, — негодование, отчаяние, злоба мучили его. Жизнь являлась грозною, томили предчувствия, подстерегали несчастья. Личное счастье и довольство сурово отвергались сердцем, да и разуму казались ненадежными, — казалось, что в личной

жизни нет устоев, которых не могла бы сокрушить нелепая случайность. Жизнь колебалась, как непрочный мост на шатких устоях. И вот явилась мысль, спасительная... но химеричная.

В глубине сознания Логина с самого начала таилось неверие в осуществимость этой мысли. Иногда он даже сознавался перед собою в том, что не верит. Но слишком был необходим выход из душевной смуты, чтобы Логин мог решиться бросить свой замысел, не испытав его на деле.

В последние дни Логин внимательно всматривался в горожан и много знакомился с теми, кого раньше или вовсе не знал, или знал мало. Все, что замечал теперь, примеривал к своему замыслу — и людей, и дела их. Оказывалось большое несоответствие. Иногда затея провести живую мысль в этом обществе представлялась до забавного нелепою, и Логин улыбался холодной и рассеянною улыбкою.

Он пообедал одиноко, оделся с некоторою тщательностью и отправился за город. Там, куда он шел, ему легче дышалось, там были ясные настроения, хотя часто казались они ему странно чуждыми.

Он шел к Ермолиным, которые жили в своей усадьбе, верстах в двух от города. Семья Ермолиных состояла из отца, дочери и сына. Максим Иванович Ермолин лет десять тому назад оставил земскую службу — был он председателем уездной управы. Теперь только со стороны интересовался он земскими делами. Эти дела шли не так, как при нем, — по иному направлению.

Логину чудилось что-то родное в печальной задумчивости, которая ложилась иногда на лицо Ермолина. Но оно дышало здоровьем и было полно той красоты, простой и дикой, которая напоминает простор полей, деревню и лес, где пахнет «смолой и земляникой».

Ермолин занимался хозяйством, — считался он по уезду в числе не только уцелевших от разорения, но и богатых помещиков. Он дивил горожан простотою жизни, любовью к труду и ворохами журналов и книг, которые ему высылались. Детей воспитал просто и сурово. Они привыкли к труду, не боятся холода и боли. Напрасный стыд не имеет над ними власти; они целыми днями остаются необутыми и так уходят далеко из дому. В нашем мещанском городе, конечно, это осуждали.

Логин шел по шоссеиной дороге. Только что миновал он последнюю городскую лачугу и последнюю харчевню, — а уже было пусто и тихо. Только слабо и гулко доносились удары молота из убогой, почернелой кузницы, что торчала боком на выезде из города, да впереди Логина, далеко, трусил в сером облачке пыли на тряской тележке пьяный мужик, подхлестывал пегую лошаденку и горланил песню, слов которой не было слышно. Скоро и он скрылся из виду, и затихли понемногу дикие звуки его нестройного пения.

Около дороги, в стоячей воде рва, увидел Логин бледные и грустные цветы водяного лютика. Плотные, блестящие листья с выемчатыми краями равнодушно и сонно лежали на тусклой воде и не чуяли теплой ласки вешнего воздуха, а больные цветы тосковали и задыхались в своем влажном и душном жилище. Светлый май был им нерадостен, и нерадостно глядели на них глаза тоскующего человека...

Наконец оголтелые и тусклые просторы дороги и полей наскучили

Логину. Торопливо покинул он проезжую дорогу и свернул в сторону, по тропе, которая вела в кусты и через них к реке. Запахло сыростью. Еле различимый, кислотоватый аромат ландышей опьянял воздух веселыми, безмятежными настроениями. В тени кустов изредка забелели радостные цветы и напоминали Логину беззаботную улыбку Анны Ермолиной. Ему стало вдруг весело и забавно. Он принялся срывать ландыши и сам подсмеивался в душе над собою за такое свое детское занятие. Но чувствовал он, что родственны его душе и эти невинные и безоблачные настроения, — правда, скучноватые, правда, преследуемые каиновою улыбкою злого человека.

Берег подымался. Под ногами Логина были красные глинистые обрывы.

Ландыши в его руках медленно увядали...

Река делала луку около обрывистого берега. Противоположный берег был низменный. Там виднелись поля. Видна была отсюда и часть города, и зеленые кровли его белых церквей с позолоченными крестами.

Логин поднялся на самую высокую точку берега. Невдалеке увидел он усадьбу Ермолина: деревянный двухэтажный дом с красною железною крышею, весело зеленеющий сад и густо разросшийся парк; дальше, за домом, службы и огород. Он перевел глаза к реке. У края парка, на берегу реки, увидел он женскую фигуру в синем сарафане. Недалеко от нее, по колени в воде, копошился мальчик с удочкою в руках. Логин не различал лиц — он плохо видел вдаль. Но он был уверен, что это Анна Ермолина и ее брат Анатолий. Логин вооружился своим пенсне. Оказалось, что он не ошибся.

Анна сидела на земле; она прислонилась спиною к стволу ивы. Логину видно было только ее ухо и часть спины, но он узнал ее по манере держаться, по медленным и свободным движениям рук, по круглым очертаниям плеч, по всем тем еле уловимым приметам, которые с трудом передаются словами, но так хорошо улавливаются и запоминаются глазом.

Логин перевел вооруженные стеклышками глаза на Анатолия. Мальчик говорил с Анною и улыбался. Лихо поднятый кверху блестящий козырек серовато-белой фуражки открывал смуглое лицо. Освещенный солнцем, уменьшенный расстоянием, ясно видный Логину сквозь стекла, словно обведенный тоненькими, отчетливыми линиями, он казался ярким, как на картинке, на ярком фоне голубой реки и светлой зелени. Его белая блуза была перетянута лакированным темным ремнем с узкою медною пряжкой. Иногда Анатолий выходил из воды и взбирался на который-нибудь из камней у берега. Рядом с темными складками высоко подобранной одежды ноги казались розовыми.

Рыба плохо ловилась. Мальчик даром бродил в холодной еще воде. Но, казалось, он не чувствовал холода. Он привык.

Логин припомнил свое детство, вдали от природы, среди кирпичных стен столицы. Вялы и нерадостны были дни, городской пылью дышала грудь, суетные желания томили, раздражительна была ложная стыдливость, порочные мечты рано стали волновать воображение. «Вот она, жизнь мирная и ясная, — думал он, — а я, с моим нечистым прошлым, дерзаю приближаться к ним, непорочным».

Злобно взглянул он на ландыши, смял цветы, изорвал их и бросил

вниз, к реке. Тихо полетели измятые ландыши, и колыхались в воздухе, и рассыпались по неровностям обрыва. Логин долго смотрел на их погубленную красоту. Он думал: «Не любит современный человек красоты в ее обнаженном аспекте, не понимает ее и не выносит. У нас нервы слишком тонки для такого простого и грубого наслаждения, как созерцание красоты».

Потом он спустился с холма и пошел к парку Ермолина. Внизу, в сыром и темном месте, увидел крупные, желтые цветы курослепа. Усмехнулся недоброю улыбкою, сорвал цветок и всунул его в петлицу пальто; но тотчас же лицо его стало печально, он бросил цветок в траву и облегченно вздохнул.

Анна развилась пышно для своих двадцати лет: плечи у нее «опарные», грудь высокая. Ее нельзя назвать красивой за ее лицо; для строгих типов красоты оно, хоть и миловидное, неправильно, а быть красавицею в русском вкусе ей мешают глаза, большие и красивые, но слишком внимательные, и золотистая смугловатость кожи. Зато под складками ее сарафана угадывается прекрасное, сильное тело. Короткие рукава обнажают стройные руки. Ее ноги слегка тронуты загаром.

Анатолий, мальчик лет пятнадцати, сильный и ловкий, похож на сестру. Его глаза смотрят не по возрасту рассудительно, но и наивно, пожалуй, тоже не по возрасту: мы привыкли видеть в глазах мальчиков тех же лет слишком «понимающее», преждевременное и нехорошее выражение.

Анатолий взобрался на прибрежный камень. Говорил печально:

— Нет, не ловится; ведь вот какая незадача!

— Видно, вчера всю выловил, — сказала Анна.

Анатолий потер руками похолодевшие колени и сказал:

— А ведь это дурное дело... жестокое.

— А ловишь, однако, — тихо молвила Анна.

Анатолий покраснел слегка, помолчал немного и ответил:

— Да уж заодно, им там в воде несладко: жрут друг друга. Кто сильнее... Знаешь, что мне теперь представляется?

— Ну, что? — спросила Анна.

— Видишь — дерево?

Анна взглянула на иву, которая склоняла над нею свою косматую вершину.

— Вот будто я взлез туда, — рассказывал Анатолий. — А внизу дети крестьянские с белыми волосами глазают на меня, ртишки разинули. И стало мне грустно...

— Когда же это было? — спросила Анна.

Улыбалась и поддразнивала брата притворным непониманием.

— Не было, — я так говорю... Мне это представляется.

Анна засмеялась. Анатолий посмотрел на нее упрекающими глазами и сказал:

— Ты — веселая, вся смеешься.

Совсем вышел на берег, бросил свои рыболовные снаряды и лег на траве, у сестриных ног. Солнце клонилось к закату, освещало и грело мальчика.

— А тебе разве не грустно? — спросил он и поглядел снизу в лицо Анны.

Перестала улыбаться. Наклонилась к мальчику и ласкала его. Спросила:

— Отчего грустно?

— Отчего? — переспросил Анатолий. — А вот — там у них вещицы сны, колокола, свечи, домовые, дурной глаз, — а мы одни, мы чужие всему этому.

— Не так чтоб уж очень чужие.

— Чужие, чужие! — воскликнул Анатолий. — Ну, наденем мы посконные рубахи, а все-таки не станем ближе к народу. Все только маскарад один.

— Ты, Толька, по внешности судишь.

— Нет, не только по внешности, — весело сказал Анатолий и засмеялся.

— Вот ты и сам рад смеху, как воробей — зернам.

— Нет, ты мне скажи, Нюточка, почему по внешности?

— Конечно... Мы тоже хотим жить по душе, по-Божьи, как они вы-ражаются. Мы всегда будем с народом, хоть и по-разному с ним думаем.

Анатолий повернулся на спину и полежал немного молча.

— Да, с народом, — заговорил он вдумчиво и вдруг быстро переменял тон и сказал с лукавою усмешкою: — Однако с народом-то мы не умеем так заговариваться, как...

Замолчал и засмеялся. Анна пощекотала его пальцами под горлом и спросила:

— Как с кем?

Анатолий со смехом барахтался в траве.

— С кем-нибудь другим, — кончил он звонким от смеха голосом.

— Так ведь с кем о чем можно говорить, — ласково сказала Анна, — у всякой птички свой голосок.

Прислонилась спиной к дереву и мечтательно всматривалась в далекие очертания убегающего берега, словно разнежили ее воспоминания.

— А вот с кем интересно говорить, так это с Логиным, — вдруг сказал Анатолий искренним голосом.

Анна зарделась. Живо спросила:

— Почему?

— Да так, — он о разных предметах умеет. Другие все больше об одном: у каждого свой любимый разговор, — заведет свою шарманку, да музыкант... Впрочем, нынче и у него шарманка завелась.

— Что за слово — шарманка!

— А чем не слово?

— А тем, что каждый говорит о том, что ему интересно. Что тут удивительного? Видишь — ива, — вдруг бы на ней огурцы выросли!

Анатолий звонко рассмеялся. И, вдруг возвращаясь к какому-то прежнему разговору, спросил:

— А что, если уже и мы дождемся?

— Чуда? — спросила Анна. — Огурцов с ивы?

— Нет, того, что неизбежно. Какая радостная будет жизнь!.. А вот и Василий Маркович! — весело крикнул Анатолий.

Анна подняла голову и улыбнулась. С берега по узкой тропинке

спускался Логин. Спуск был крутой, — Логину приходилось придерживать за кусты.

Чем ближе подходил он, тем беззащитнее становилось у него на душе. Он чувствовал себя опять, как в самом раннем детстве, простым и свободным.

Анна поднялась ему навстречу. Анатолий побежал к нему с радостной улыбкой.

Логин опустил на траву рядом с Анной. Анатолий опять улегся на свое прежнее место и рассказал Логину, что они сегодня делали и где они сегодня были. Логин чувствовал на себе обаяние Аннинных девственно-нежных глаз. Когда Анатолий окончил свои рассказы, Анна сказала Логину:

— Мы с отцом вчера долго говорили о ваших планах.

— Боюсь только, — грустно отвечал Логин, — что вы приписываете им не то происхождение.

— Почему же? Кажется, ясно: трудно жить среди людей несчастных и не пытаться помочь.

— Нет, не то! Один только страх меня двигает... Служба учительская мне опротивела, капиталов у меня нет, никаких путей перед собою я не вижу, — и ищу для себя опоры в жизни... просто, личного довольства. Ведь не в носильщики же мне идти!

Анна недоверчиво покачала головой.

— Довольства... — начала было она. — Впрочем, я не понимаю, почему ваша теперешняя деятельность противна вам? Чего же вы от нее ждали?

— Мне вас, видно, не убедить.

— Я помню, что вы говорили. Но видите, уж у березы ли кора не белая, — а пальцы марают, если ее ломать. Везде есть темные стороны, — но ведь фонарь не гаснет оттого, что ночь темная.

— На мне отяготела жизнь, и умею я только ненавидеть в ней все злое... хоть и сам я не беспорочен.

Логин взглянул в ту сторону, где лежал сейчас Анатолий. Но его там уже не было. Мальчику показалось, что он может помешать разговору. Он незаметно отошел и опять занялся удочками.

— Они знают, что надо делать, — продолжал Логин. — Если бы я знал! А то я как-то запутался в своих отношениях к людям и себе. Света у меня нет... И желания мои странны.

Логин говорил это почти небрежным тоном, с легкой усмешкой, которая странно противоречила смыслу его слов.

— Так вот и видно, — весело сказала Анна, — что не одно личное довольство манит вас.

— Нет, отчего же? Мне порою кажется, что я рад бы обратиться в сытого обрезывателя купонов. Но беда в том, что и денег теперь мне не надо... Мне жизнь страшна. Я чувствую, что так нельзя жить дальше.

— А чем страшна жизнь?

— Мертва она слишком! Не столько живем, сколько играем. Живые люди гибнут, а мертвецы хоронят своих мертвецов... Я жажду не любви, не богатства, не славы, не счастья, — живой жизни жажду, без клейма и

догмата, такой жизни, чтоб можно было отбросить все эти завтрашние цели, чтоб ярко сияла цель недостижимая.

— Невозможное желание! — грустно сказала Анна.

— Да, да! — страстно воскликнул Логин, — В жизни должно быть невозможное, и только оно одно имеет цену... Ну, а возможное... Я ходил по всем путям возможного в жизни, и везде жизнь ставила мне ловушки. Красота приводила к пороку, стремление к добру заставляло делать глупости и вносить к людям зло, стремление к истине заводило в такие дебри противоречий, что не знал, как и выйти. Безверие, порок мелкий, трусливый, потаенный, разочарование в чем-то, — и бессилие... Есть запрещенное, — к нему и тянешься... Манят улады сверхъестественные... пусть даже противуестественные. Мы слишком рано узнали тайну, и несчастны... Мы обнимали призрак, целовали мечту. Мы в пустоту тратили пыл сердца... сеяли жизнь в бездну, и жатва наша — отчаяние. Мы живем не так, как надо, мы растеряли старые рецепты жизни и не нашли новых. Нас и воспитывали диковинно: дерзновение отрока умерщвляли в нас, чтобы не вышло из среды нашей мужа.

Анна внимательно слушала, опустив глаза к зеленеющим травкам, ласкающим ее ноги.

— Я не все здесь точно понимаю, — тихо сказала она. — Так много недосказанного. Слишком много страсти и злости. Да и не на всех путях вы были.

«Однако, я исповедываюсь ей», — думал Логин.

И дивился он на себя и на откровенность свою. Почему ей, непорочной, говорит он о пороках и доверчиво открывает ей свою душу... нищету своей души? Как все непорочные, она — жестокая...

— И отчего не исполняются надежды? — тоскливо заговорил он.

Анна подняла на него ясные глаза и тихо сказала:

— У нас в лесах цветет теперь много ландышей, белые в прозелень цветы, милые такие. А вам случалось видеть их ягоды?

— Нет, не доводилось.

— Да и мало кто их видел.

— А вы видели?

— Я видела. Ярко-красные ягоды. И никто-то, почти никто их не видит: ребятишки жадные обрывают цветы — и продают.

— Здесь лучше цвет, чем плод, — сказал Логин. — Красота цветка — достигнутая цель жизни ландыша.

Он вспомнил, как за полчаса перед этим мял и рвал ландыши. Он улыбнулся так горько, что Анна почувствовала смутную боязнь. Логин не объяснил, чему улыбается, хоть Анна вопросительно смотрела на него.

Глава третья

Ермолины провожали Логина. Был поздний вечер. Воздух был влажен и прохладен. Поля затуманивались. Неподвижны и грустны стояли придорожные липы. Зеленоватые цветы бузины пахли странно и резко. Травы дремали, кропя росой босые ноги Анны и Анатолия.

От столбовой дороги, в полуверсте от городской черты, отделялась

неширокая, мощенная щебнем дорога. По ней до усадьбы Ермолина было около версты. Саженой за сто до усадьбы дорога обращалась в аллею — старые липы росли по обеим сторонам. За ними по одну сторону были пашни, виднелась деревенька Подберезье. По другую сторону, к городу, ряд лип был границей парка, раскинувшегося широко от дороги. В парке были пруды в виде озерок и речек, через которые переброшены мостики, были густые рощицы и веселые лужайки. За парком начинался сад. Между парком и садом, за рядом придорожных лип и небольшою площадкою, стоял дом с широкой террасою в сад. Высокий часток охватывал двор, службы и сад, так что с дороги виден был только фасад дома с двумя балконами на концах второго этажа и с подъездом посредине. Парк огораживали только кусты акаций, — вход в него был свободен, и горожане иногда приходили сюда гулять. Впрочем, очень не часто, — далеко от города.

— Вы бываете у Дубицкого? — спросил Ермолин.

— Редко, да и то с неохотою, — ответил Логин.

Ермолин засмеялся. Смех его был всегда заразительно веселый, звонкий. Да и весь он был крепкий. Плотный стан, сильные руки, борода лопатою, — и подвижное лицо, богатое разнообразием выражений, вдумчивые, проницательные глаза и характерные складки хорошо развитого лба — все обличало человека, который одинаково работает и мускулами, и нервами. Дети оба на него похожи.

— А ведь он вас хвалит! — сказал он Логину.

— Дубицкий? Удивительно!

— Как же! Он говорит, что вы один из всех здесь его понимаете. Ему кто-то передал, — пояснил Ермолин, — будто вы говорили: все здесь слабянки да лицемеры, один только, мол, Дубицкий хорош.

— Вы иногда говорите то, чего не думаете, — сказала Анна с трудно скрываемым волнением, и глаза ее зажглись.

Логин смотрел на ее ярко запылавшие щеки, — и гордая радость шевельнулась в нем, бог весть о чем.

— Что ж, — сказал он, — Дубицкий все же выделяется.

— Еще бы! — воскликнула Анна, — да и как выделяется.

— Хоть он и гнетет своих детей, — продолжал Логин, — да и сам железный. А то нынче у всех нервы...

— А раньше их не было?

— Люди, как и прежде, — сожрать друг друга готовы, а сами все гибкие, как вербовые хлыстики. Этот, по крайней мере, смеет быть жестоким откровенно.

— Так вот, — заговорил Ермолин опять, — у меня к вам просьба: авось вам и удастся то, о чем я вас попрошу.

— С удовольствием, если сумею, — ответил Логин.

— Дело вот в чем: есть в нашем уезде учитель Почуев. Он недавно кончил в здешней семинарии. Юноша скромный и добросовестный, хоть пороку не выдумает. Вот теперь его увольняют от службы за то, что подал руку Вкусову.

Логин удивился. Спросил:

— Исправнику? За это?

— Вас удивляет? Видите, какие случаи возможны в глуши. Учитель неопытный. Приехал к нему в школу исправник. Почувев первый протянул руку. Исправник раскричался — как смел забыть такую молосос: должен был дожидаться, когда начальство протянет руку. Почувев возразил что-то. Это приняли за дерзость. А какая там дерзость, — просто переконфузился юноша, что кричат на него перед учениками. Теперь решено его уволить.

— Как это глупо! — воскликнул Логин.

— От Дубицкого тут много зависит, — продолжал Ермолин, — он, как предводитель дворянства, председательствует в училищном совете. Он может отстоять учителя, — если захочет.

— Да его ведь уже уволили?

— Ну, могут опять назначить... хоть в другую школу, если в ту же нельзя. Вот мы с Ньютоу подумали, да и решили попросить вас зайти к Дубицкому и попытаться как-нибудь это устроить.

— Я с удовольствием, — отчего не попытаться. Да стоит ли?

— Ну, как не стоит, — где и когда он пристроится? А Дубицкого можно уговорить — он не благоволит к Вкусову... Съездил бы и я к нему, да он меня не любит: испорчу только своим вмешательством.

Ермолин усмехнулся добродушно и грустно.

— Хорошо, я схожу, если вы находите...

— Уж вы, пожалуйста, постарайтесь, — ласково сказала Анна, сжимая руку Логина.

Ее лучистые глаза доверчиво и нежно глянули на него, — и показалось Логину, что они смотрят прямо в заветную и недоступную глубину его души. И ответная чистая радость поднялась в нем и блеснула на миг в загоревшемся внезапно огне его мечтательно-утомленного взгляда.

Ермолины простились с Логиним... Он остался один. Влажная вечерняя тишина наполняла его светлую печалью. Отрывками вспоминались сегодняшние разговоры, — и воспоминания проносились медленно, как клочья облаков на небе, слегка озвездившемся, светло-синем с зеленоватыми краями. Один образ стоял перед ним неотступно, как небо, которое многократно просвечивало сквозь клочья облаков, — образ Анны. Очарование веяло от него... Но чем дальше уходил Логин, тем большее разгоралась в его душе отравя старых сомнений. Мечта о счастье мучительно умирала, мимолетная, радостная, — и ненужная...

Логин думал о счастье того, кто полюбит Анну и кого она полюбит. Был теперь уверен в том, что для него это счастье недоступно. Да и не нужно оно ему. Сердце его холодно, — и никакой обман жизни не имеет над ним власти. Не может он полюбить, — и нечем ему возбудить любви! Одинокое догорит его жизнь. Порочно и холодно его сердце. Мысль отвергает плотскую любовь и всякое вожделение. Все желания имеют одинаково незаконную природу — и узаконенные обычаем, и тайные. Все они возникают из суетного стремления к расширению своей личности, призрачной, вечно текущей и обреченной на уничтожение. Горе вожделеющим, горе тем, кто надеется! Всякая надежда обманет, и всякое вожделение оставит по себе тягостный угар. Но и счастливы только

желающие, — потому что всякое счастье — обман и мечта. Кто понял жизнь, тот ей рад и не рад, и отвергает счастье.

Но все же сладко было мечтать об Анне. Не было зависти к чужому счастью, к наивному счастью того, кто возьмет ее в жены.

Анна вошла в отцов кабинет. Она вся была простая и чистая, как вода нагорного ключа. Густая коса ее была распущена и опускалась до пояса.

Было поздно. Ермолин сидел и просматривал газеты: почта пришла утром, но Ермолин весь день был занят.

На тяжелом письменном столе с потертым зеленым сукном светло горела под зеленым колпаком стеклянная на бронзе лампа. Все здесь было просто и скромно. Широкие окна давали днем много света. По стенам теснились открытые шкапы с книгами, расставленными тесно, по форматам, на передвижных полках, так что над книгами не оставалось пустых мест. Диван, обитый сафьяном, несколько кресел и стульев, по стенам несколько фотографий в ореховых резных рамках, — и нигде ничего лишнего, никаких украшений и безделушек.

Анна придвинула стул и села рядом с отцом. У нее, как и у Анатолия, была привычка каждый вечер приходиться к отцу. Их беседы наедине, то краткие, то продолжительные, бывали похожи на исповеди. Беспощадная откровенность, строгий суд. Анна рассказывала впечатления дня. Это почти заменяло дневник. Ее дневники были кратки. Это были только памятные заметки, беглые намеки: одно слово обозначало целое событие, сжатые формулы вмещали ряд мыслей. Только для нее самой были понятны краткие записи в тоненьких синих тетрадках.

— Я почему-то все думаю о Логине, — сказала Анна.

— Я люблю его, — отвечал Ермолин, — но мало я в него верю.

— В нем большая борьба. Гроза, которая еще не надвинулась: не то зарницы, не то молнии...

— Не то гром, не то стучит телега, — закончил Ермолин с улыбкою.

— Да, вот ты шутишь, — а ведь ему в самом деле тяжело. Он тянется в разные стороны и видит две истины разом. У него всё противоречия, — и не хочет скрывать их.

— Или не умеет. Умственная лень.

— Скорее смелость. Он как коршун, который захватил в каждую лапу по цыпленку, и не может подняться с обоими, и не хочет бросить ни одного, и бьется крыльями в пыли. Он не овладел целою истиною.

— И не овладеет, — сухо сказал Ермолин.

— Почему? — спросила Анна и быстро покраснела.

— Да потому, что в нем нет настоящей силы.

— А мне кажется...

— Он рассуждает иногда верно, и дело его будет сделано, может быть, но другими. Сам он — лишний.

— Ах, нет! в нем-то и есть сила, только скованная.

— Чем?

— Сама на себя разделилась. Но это настоящая сила.

Ермолин улыбнулся.

— Посмотрим, в чем она скажется.

— В нем много злого... порочного, — тихонько сказала Анна, точно это слово обжигало ей губы. — Ему нужен порыв, подъем духа, — может быть, нужно, чтоб кто-нибудь зажег его душу.

— Не ты ли?

Анна покраснела и засмеялась.

Аннина спальня во втором этаже. В ней окна оставались открытыми во всю ночь.

Утром над постелью пронеслись влажные и мягкие веяния. Анна проснулась. Окна розовели. Солнце еще не взошло, но уже играла заря. Было свежо и тихо. Чирикали ранние птицы. Анна быстро встала и подошла к окну. Томность разливалась в ее теле. Холодок пробежал под ее тонкою одеждою.

Под окном стояла березка. Ее сочные и тонкие ветки гнулись. Сад еще слегка туманился. На светлом небе атели и тлели тонкие тучки.

Анна вышла в сад. Никто не встретился. Шла босая по сырватому песку дорожек. Охватил утренний радостный холод. Кутала плечи в платок. Хотелось идти куда-то далеко, — а глаза еще порою смыкались от недоспанного сна. Вышла через калитку из сада и шла парком, по росистой тропе между кустами бузины. Запах цветов бузины щекотал обоняние...

Солнце всходило: золотой край горел из-за синей мглы горизонта. Анна взошла на вершину обрыва, туда, где вчера Логин измял собранные им ландыши. Дали открывались из-за прозрачного, розовато-млечного тумана, который быстро сбегал. Сырость и холод охватили Анну. Было весело. И грусть примешивалась к веселости. Все было вместе: и радость жизни, и грусть жизни. В теле разливалась холодная, бодрая радость; на душе горела грусть. Мечты и думы сменялись...

Река с розовато-синими волнами, и белесоватые дали, и алое небо с золотистыми тучками — все было красиво, но казалось ненастоящим. За этою декорацией чувствовалось колыхание незримой силы. Эта сила таилась, наряжалась, — лицемерно обманывала и влекла к гибели. Волны реки струились, тихие, но неумолимые.

«Какая сила! — думала Анна, — бесполезная, равнодушная к человеку... И все к нам безучастно и не для нас: и ветер, бесплодно веющий, и звери, и птицы, которые для чего-то развивают всю эту дикую и страшную энергию. Ненужные струи, покорные вечным законам, стремятся бесцельно, — и на берегах вечнодвижущейся силы бессильные, как дети, тоскуют люди»...

Дома Анну встретила тоненькая, смуглая девушка с резкими, угловатыми движениями и неприятно-громким смехом. У нее черные брови; густые черные волосы заплетены в косу, которую она обвила вокруг головы. На ее худощавых щеках играет густой румянец. Это — дочь бывшего здешнего чиновника Дылина; он был исключен из службы за запойное пьянство, служил потом волостным писарем, но и оттуда его удалили за неумеренные поборы с крестьян; пристроился наконец писцом у «непременного члена». Недавно умер от перепоя. Осталась жена

и девять человек детей. Вся эта ватага жила в маленьком домике, на одном дворе с квартирою Логина.

Девушка, которая явилась теперь, ранним утром, к Анне, — старшая из детей. Зовут ее Валентиною Валентиновною или, сокращенно, Валею, что к ней больше идет: очень еще она юна и шаловлива. Она после смерти отца получила место учительницы в сельской школе, близ усадьбы Ермолина. Теперь она шла в свою школу из города, где была с вечера у матери.

Смерть отца была для Валиной семьи счастьем: он не проплет теперь жениной одежды и не переколотит дома всего, что ни попадет под пьяную руку. А чувствительные городские дамы пришли на помощь сиротам, пристроили Валею, определили двух ее подростков-братьев на инженерные работы, которые производились близ нашего города, и наделяли семью и одеждою, и пищею, и деньгами. Ермолиных Дылины считали в числе своих покровителей и потому забежали к ним в чайнии получить какую-нибудь подачку или работу. И теперь на Вале надеты подаренные Анною красная кофточка и синяя юбка. Башмаки, купленные для нее Анною, Валя оставила в городе; здесь она ходит босая, из подражания Анне и по привычке из детства.

— Вот, Валя, — сказала Анна, — вы целый год живете рядом с Логиным — то-то вы его, должно быть, хорошо знаете.

— Ну да, — ответила Валя с резким смехом, от которого Анна слегка поморщилась, — где там его узнаешь!

— А что ж? — спросила Анна. — Однако как ты смеешься Валя!

Валя покраснела и перестала смеяться. Она относилась к Анне с некоторою робостью и почитанием и старалась подражать ей во всем.

— Да Василий Маркович такой неразговорчивый, — объяснила она. — И гордый очень. И смотрит как-то так...

— Как же?

— Да как-то уныло, и точно он презирает.

— Ошибаешься, Валя: он не гордый и никого не презирает.

— Только я его боюсь.

— Что ж в нем страшного?

— Да у него глаз дурной.

— Что ты, Валя, — что это значит?

— Ну вот, посмотрит и сглазит.

— Ах, Валя, а еще учительница!

— Да правда же, Анна Максимовна, есть такие глаза. Уж это у человека кровь такая. Он и сам не рад, да что ж делать, коли кровь...

— Перестань, пожалуйста.

— Вот, вы ни в чох, ни в сон не верите.

— Какая ты еще неразумная девочка, Валя!

— Какая я девочка! Мне уж скоро двадцатый пойдет.

— То есть недавно восемнадцать исполнилось, и ты еще лазаешь по заборам. Где это ты приобрела?

Анна взяла Валину руку, на которой через всю ладонь проходила красная, узенькая, совсем еще свежая царапинка.

— А это я об мотовиловский забор, — без всякого стеснения объяснила Валя.

МЕЛКИЙ БЕС

I

После праздничной обедни прихожане расходились по домам. Иные останавливались в ограде, за белыми каменными стенами, под старыми липами и кленами, и разговаривали. Все принарядились по-праздничному, смотрели друг на друга приветливо, и казалось, что в этом городе живут мирно и дружно. И даже весело. Но все это только казалось.

Гимназический учитель Передонов, стоя в кругу своих приятелей, угрюмо посматривая на них маленькими, заплавленными глазами из-за очков в золотой оправе, говорил им:

— Сама княгиня Волчанская обещала Варе, уж это наверное. Как только, говорит, выйдет за него замуж, так я ему сейчас же и выхлопочу место инспектора.

— Да как же ты на Варваре Дмитриевне женишься? — спросил краснотлицый Фаластов. — Ведь она же тебе сестра! Разве новый закон вышел, что и на сестрах венчаться можно?

Все захохотали. Румяное, обыкновенно равнодушно-сонное лицо Передонова сделалось свирепым.

— Трююродная... — буркнул он, сердито глядя мимо собеседников.

— Да тебе самому княгиня обещала? — спросил щеголевато одетый, бледный и высокий Рутилов.

— Не мне, а Варе, — ответил Передонов.

— Ну вот, а ты и веришь, — оживленно говорил Рутилов. — Сказать все можно. А ты сам, Передонов, отчего к княгине не явился?

— Пойми, что мы пошли с Варей, да не застали княгини, всего на пять минут опоздали, — рассказывал Передонов, — она в деревню уехала, вернется через три недели, а мне никак нельзя было ждать, сюда надо было ехать к экзаменам.

— Сомнительно что-то, — сказал Рутилов и засмеялся, показывая гниловатые зубы.

Передонов призадумался. Собеседники разошлись. Остался с ним один Рутилов.

— Конечно, — сказал Передонов, — я на всякой могу, на какой захочу. Не одна мне Варвара.

— Само собой, за тебя, Ардальон Борисыч, всякая пойдет, — подтвердил Рутилов.

Они вышли из ограды и медленно проходили по площади немощной и пыльной. Передонов сказал:

— Только вот княгиня как же? Она разозлится, если я Варвару брошу.

— Ну, что ж княгиня! — сказал Рутилов. — Тебе с ней не котят крестить. Пусть бы она тебе место сначала дала, — округиться успеешь. А то как же так, зря, ничего не видя!

— Это верно... — раздумчиво согласился Передонов.

— Ты так Варваре и скажи, — уговаривал Рутилов. — Сперва место, а то, мол, я так не очень-то верю. Место получишь, а там и венчайся, с кем вздумаешь. Вот ты лучше из моих сестер возьми, — три, любую выбирай. Барышни образованные, умные, без лести сказать, не чета Варваре. Она им в подметки не годится.

— Ну-у... — промычал Передонов.

— Верно. Что твоя Варвара? Вот, понюхай.

Рутилов наклонился, оторвал шерстистый стебель белены, скомкал его вместе с листьями и грязно-белыми цветами и, растирая все это пальцами, поднес к носу Передонова. Тот поморщился от неприятного, тяжелого запаха. Рутилов говорил:

— Растереть да бросить, — вот и Варвара твоя. Она и мои сестры — это, брат, две большие разницы. Бойкие барышни, живые, любую возьми, не даст заснуть. Да и молодые, — самая старшая втрое моложе твоей Варвары.

Все это Рутилов говорил, по обыкновению своему, быстро и весело, улыбаясь, но он, высокий, узкогрудый, казался чахлым и хрупким, и из-под шляпы его, новой и модной, как-то жалко торчали жидкие, коротко остриженные светлые волосы.

— Ну, уж и втрое, — вяло возразил Передонов, снимая и протирая золотые очки.

— Да уж верно! — воскликнул Рутилов. — Смотри не зевай, пока я жив, а то они у меня тоже с гонором, — потом захочешь, да поздно будет. А только из них каждая за тебя с превеликим удовольствием пойдет.

— Да, в меня здесь все влюбляются, — с угрюмым самохвальством сказал Передонов.

— Ну, вот видишь, вот ты и лови момент, — убеждал Рутилов.

— Мне бы, главное, не хотелось, чтобы она была сухопарая, — с тоскою в голосе сказал Передонов. — Жирненькую бы мне.

— Да уж на этот счет ты не беспокойся, — горячо говорил Рутилов. — Они и теперь барышни пухленькие, а если не совсем вошли в объем, так это только до поры до времени. Выйдут замуж, и они раздобрееют, как старшая. Лариса-то у нас, сам знаешь, какая кулебяка стала.

— Я бы женился, — сказал Передонов, — да боюсь, что Варя большой скандал устроит.

— Боишься скандала, так ты вот что сделай, — с хитрою улыбкою сказал Рутилов. — Сегодня же венчайся, не то завтра: домой явишься с молодой женой, и вся недолга. Правда, хочешь, я это сварганю завтра же вечером? С какою хочешь?

Передонов внезапно захохотал, отрывисто и громко.

— Ну, идет? по рукам, что ли? — спросил Рутилов.

Передонов так же внезапно перестал смеяться и угрюмо сказал, тихо, почти шепотом:

— Донесет, мерзавка.

— Ничего не донесет, нечего доносить, — убеждал Рутилов.

— Или отравит, — боязливо шептал Передонов.

— Да уж ты во всем на меня положишься, — горячо уговаривал его Рутилов, — я все так тонко обстрою тебе...

— Я без приданого не женюсь, — сердито крикнул Передонов.

Рутилова нисколько не удивил новый скачок в мыслях его угрюмого собеседника. Он возразил все с тем же одушевлением:

— Чудак, да разве они бесприданницы! Ну, что же, идет, что ли? Ну, я побегу, все устрою. Только чур, никому ни гу-гу, слышишь, никому!

Он потряс руку Передонова и побежал от него. Передонов молча смотрел за ним. Барышни Рутиловы припомнились ему, веселые, насмешливые. Нескромная мысль выдавила на его губы поганое подобие улыбки, — оно появилось на миг и исчезло. Смутное беспокойство поднялось в нем.

«С княгиней-то как же? — подумал он. — За теми гроши, и протекции нет, а с Варварой в инспекторы попадешь, а потом и директором сделают».

Он посмотрел вслед суетливо убегающему Рутилову и злорадно подумал:

«Пусть побегает».

И эта мысль доставила ему вялое и тусклое удовольствие. Но ему стало скучно оттого, что он — один; он надвинул шляпу на лоб, нахмурил светлые брови и торопливо отправился домой по немощным, пустым улицам, заросшим лежачею мшанкою с белыми цветами да жерухой травой, затоптанною в грязи.

Кто-то позвал его тихим и быстрым голосом:

— Ардальон Борисыч, к нам зайдите.

Передонов поднял сумрачные глаза и сердито посмотрел за изгородь. В саду за калиткою стояла Наталья Афанасьевна Вершина, маленькая, худенькая, темнокожая женщина, вся в черном, чернобровая, черноглазая. Она курила папироску в черешневом темном мундштуке и улыбалась слегка, словно знала такое, чего не говорят, но чему улыбаются. Не столько словами, сколько легкими, быстрыми движениями зазывала она Передонова в свой сад: открыла калитку, посторонилась, улыбалась просительно и вместе уверенно и показывала руками, — входи, мол, чего стоишь.

И вошел Передонов, подчиняясь ее словно ворожащим, беззвучным движениям. Но он сейчас же остановился на песчаной дорожке, где в глаза ему бросились обломки сухих веток, и посмотрел на часы.

— Завтрак пора, — проворчал он.

Хотя часы служили ему давно, но он и теперь, как всегда при людях, с удовольствием глянул на их большие золотые крышки. Было без двадцати минут двенадцать. Передонов решил, что можно побыть немного. Угрюмо шел он за Вершиною по дорожкам, мимо опустелых кустов черной и красной смородины, малины, крыжовника.

Сад желтел и пестрел плодами да поздними цветами. Было тут много плодовых и простых деревьев да кустов: невысокие раскидистые яблони, круглолистые груши, липы, вишни с гладкими блестящими ли-

стями, слива, жимолость. На бузиновых кустах краснели ягоды. Около забора густо цвела сибирская герань, — мелкие бледно-розовые цветки с пурпуровыми жилками. Остро-пестро выставяло из-под кустов свои колючие пурпуровые головки. В стороне стоял деревянный дом, маленький, серенький, в одно жилье, с широкою обеденкою в сад. Он казался милым и уютным. А за ним виднелась часть огорода. Там качались сухие коробочки мака да бело-желтые крупные чепчики ромашки, желтые головки подсолнечника, никли перед увяданием и между полезными зелиями поднимались зонтики: белые у кокорыша и бледно-пурпуровые у цикутного аистника, цвели светло-желтые лютики да невысокие молочаи.

— У обедни были? — спросила Вершина.

— Был, — угрюмо ответил Передонов.

— Вот и Марта только что вернулась, — рассказывала Вершина. — Она часто в нашу церковь ходит. Уж я и то смеюсь: для кого это, говорю, вы, Марта, в нашу церковь ходите? Краснеет, молчит. Пойдемте, в беседке посидимте, — сказала она быстро и без всякого перехода от того, что говорила раньше.

Среди сада, в тени развесистых кленов, стояла старенькая серенькая беседка, — три ступеньки вверх, обомшалый помост, низенькие стены, шесть точеных пузатых столбов и шестискатная кровелька.

Марта сидела в беседке, еще принаряженная от обедни. На ней было светлое платье с бантиками, но оно к ней не шло. Короткие рукава обнажали островатые красные локти, сильные и большие руки. Марта была, впрочем, недурна. Веснушки не портили ее. Она слыла даже за хорошенькую, особенно среди своих, поляков, — их жило здесь не мало.

Марта набивала папиросы для Вершиной. Она нетерпеливо хотела, чтобы Передонов посмотрел на нее и пришел в восхищение. Это желание выдавало себя на ее простодушном лице выражением беспокойной приветливости. Впрочем, оно вытекало не из того, чтобы Марта была влюблена в Передонова: Вершина желала пристроить ее, семья была большая, — и Марте хотелось угодить Вершиной, у которой она жила несколько месяцев, со дня похорон старика — мужа Вершиной, — угодить за себя и за брата-гимназиста, который тоже гостил здесь.

Вершина и Передонов вошли в беседку. Передонов сумрачно поздоровался с Мартою и сел, — выбрал такое место, чтобы спину защищал от ветра столб и чтобы в уши не надудло сквозняком. Он посмотрел на Мартины желтые башмаки с розовыми помпончиками и подумал, что его ловят в женихи. Это он всегда думал, когда видел барышень, любезных с ним. Он замечал в Марте только недостаток — много веснушек, большие руки и с грубою кожею. Он знал, что ее отец, шляхтич, держал в аренде маленькую деревушку верстах в шести от города. Доходы малые, детей много: Марта кончила прогимназию, сын учился в гимназии, другие дети были еще меньше.

— Пивка позволите вам налить? — быстро спросила Вершина.

На столе стояли стаканы, две бутылки пива, мелкий сахар в жестяной коробке, ложечка мельхиоровая, замоченная пивом.

— Выпью, — отрывисто сказал Передонов.

Вершина посмотрела на Марту. Марта налила стакан, подвинула

его Передонову, и при этом на ее лице играла странная улыбка, не то испуганная, не то радостная. Вершина сказала быстро, точно просыпала слова:

— Положите сахару в пиво.

Марта подвинула к Передонову жестянку с сахаром, но Передонов досадливо сказал:

— Нет, это — гадость, с сахаром.

— Что вы, вкусно, — однозвучно и быстро уронила Вершина.

— Очень вкусно, — сказала Марта.

— Гадость, — повторил Передонов и сердито поглядел на сахар.

— Как хотите, — сказала Вершина и тем же голосом, без остановки и перехода, заговорила о другом: — Черепнин мне надоедает, — сказала она и засмеялась.

Засмеялась и Марта. Передонов смотрел равнодушно: он не принимал никакого участия в чужих делах, — не любил людей, не думал о них иначе, как только в связи со своими выгодами и удовольствиями. Вершина самодовольно улыбнулась и сказала:

— Думает, что я выйду за него.

— Ужасно дерзкий, — сказала Марта не потому, что думала это, а потому, что хотела угодить и польстить Вершиной.

— Вчера у окна подсматривал, — рассказывала Вершина. — Забрался в сад, когда мы ужинали. Кадка под окном стояла, мы подставили под дождь, — целая натекла. Покрыта была доской, воды не видно, он влез на кадку да и смотрит в окно. А у нас лампа горит, — он нас видит, а мы его не видим. Вдруг слышим шум. Испугались сначала, выбегаем. А это он провалился в воду. Однако вылез до нас, убежал весь мокрый, — по дорожке так мокрый след. Да мы и по спине узнали.

Марта смеялась тоненьким, радостным смехом, как смеются благонаправные дети. Вершина рассказывала все быстро и однообразно, словно высыпала, — как она всегда говорила, — и разом замолчала, сидела и улыбалась краем рта, и оттого все ее смуглое и сухое лицо пошло в складки, и черноватые от курева зубы слегка приоткрылись. Передонов подумал и вдруг захохотал. Он всегда не сразу отзывался на то, что казалось ему смешным, — медленны и тупы были его восприятия.

Вершина курила папиросу за папиросою. Она не могла жить без табачного дыма перед ее носом.

— Скоро соседями будем, — объявил Передонов.

Вершина бросила быстрый взгляд на Марту. Та слегка покраснела, с пугливым ожиданием посмотрела на Передонова и сейчас же опять отвела глаза в сад.

— Переезжаете? — спросила Вершина. — Отчего же?

— Далеко от гимназии, — объяснил Передонов.

Вершина недоверчиво улыбалась. Вернее, думала она, что он хочет быть поближе к Марте.

— Да ведь вы там уже давно живете, уже несколько лет, — сказала она.

— Да и хозяйка стерва, — сердито сказал Передонов.

— Будто? — недоверчиво спросила Вершина и криво улыбнулась.

Передонов немного оживился.

— Наклеила новые обои, да скверно, — рассказывал он. — Не подходит кусок к куску. Вдруг в столовой над дверью совсем другой узор, вся комната разводами да цветочками, а над дверью полосками да гвоздиками. И цвет совсем не тот. Мы было не заметили, да Фаластов пришел, смеется. И все смеются.

— Еще бы, такое безобразие, — согласилась Вершина.

— Только мы ей не говорим, что мы выедем, — сказал Передонов и при этом понизил голос. — Найдем квартиру и поедем, а ей не говорим.

— Само собой, — сказала Вершина.

— А то будет, пожалуй, скандалить, — говорил Передонов, и в глазах его отразилось пугливое беспокойство. — Да еще и плати ей за месяц, за такую-то гадость.

Передонов захохотал от радости, что выедет и за квартиру не заплатит.

— Стребует, — заметила Вершина.

— Пусть требует, я не отдам, — сердито сказал Передонов. — Мы в Питер ездили, так не пользовались это время квартирою.

— Да ведь квартира-то за вами оставалась, — сказала Вершина.

— Что ж такое! Она должна ремонт делать, так разве мы обязаны платить за то время, пока не живем? И главное — она ужасно дерзкая.

— Ну, хозяйка дерзкая оттого, что ваша... сестрица уж слишком пылкая особа, — сказала Вершина с легкой заминкою на слове «сестрица».

Передонов нахмурился и тупо глядел перед собою полусонными глазами. Вершина заговорила о другом. Передонов вытащил из кармана карамельку, очистил ее от бумажки и принялся жевать. Случайно взглянул он на Марту и подумал, что она завидует и что ей тоже хочется карамельки.

«Дать ей или не давать? — думал Передонов. — Не стоит она. Или уж разве дать, — пусть не думают, что мне жалко. У меня много, полные карманы».

И он вытащил горсть карамели.

— Натe, — сказал он и протянул леденцы сначала Вершиной, потом Марте, — хорошие бомбошки, дорогие, тридцать копеек за фунт плачены.

Они взяли по одной. Он сказал:

— Да вы больше берите. У меня много, и хорошие бомбошки, — я худого есть не стану.

— Благодарю вас, я не хочу больше, — сказала Вершина быстро и невыразительно.

И те же слова за нею повторила Марта, но как-то нерешительно. Передонов недоверчиво посмотрел на Марту и сказал:

— Ну, как не хотеть! Натe.

И он взял из горсти одну карамельку себе, а остальные положил перед Мартою. Марта молча улыбнулась и наклонила голову.

«Невежа, — подумал Передонов, — не умеет поблагодарить хорошенько».

Он не знал, о чем говорить с Мартою. Она была ему нелюбопытна, как все предметы, с которыми не были кем-то установлены для него приятные или неприятные отношения.

Остальное пиво было вылито в стакан Передонову.

Вершина глянула на Марту.

— Я принесу, — сказала Марта.

Она всегда без слов догадывалась, чего хочет Вершина.

— Пошлите Владю, он в саду, — сказала Вершина.

— Владислав! — крикнула Марта.

— Здесь, — отозвался мальчик так близко и так скоро, точно он подслушивал.

— Пива принеси, две бутылки, — сказала Марта, — в сенях в ларе.

Скоро Владислав подбежал бесшумно к беседке, подал через окно Марте пиво и поклонился Передонову.

— Здравствуйте, — хмуро сказал Передонов. — Пива сколько бутылок сегодня выдули?

Владислав принужденно улыбнулся и сказал:

— Я не пью пива.

Это был мальчик лет четырнадцати, с веснушчатым, как у Марты, лицом, похожий на сестру, неловкий, мешкотный в движениях. Одет был он в блузу сурового полотна.

Марта шепотом заговорила с братом. Оба они смеялись. Передонов подозрительно посматривал на них. Когда при нем смеялись и он не знал о чем, он всегда предполагал, что это над ним смеются. Вершина забеспокоилась. Уже она хотела окликнуть Марту. Но сам Передонов спросил злым голосом:

— Чему смеетесь?

Марта вздрогнула, повернулась к нему и не знала, что сказать. Владислав улыбался, глядя на Передонова, и слегка краснел.

— Это невежливо, при гостях, — выговаривал Передонов. — Надо мной смеетесь? — спросил он.

Марта покраснела, Владислав испугался.

— Извините, — сказала Марта, — мы вовсе не над вами. Мы о своем.

— Секрет, — сердито сказал Передонов. — При гостях невежливо о секретах разговаривать.

— Да не то что секрет, — сказала Марта, — а мы тому, что Владя — босиком, и не может войти сюда, — стесняется.

Передонов успокоился, стал выдумывать шутки над Владею, потом угостил и его карамелькою.

— Марта, принесите мой черный платок, — сказала Вершина, — да загляните заодно в кухню, как там пирог.

Марта послушно вышла. Она поняла, что Вершина хочет говорить с Передоновым, и была рада, ленивая, что не к слеху.

— А ты иди подальше, — сказала Вершина Владе, — нечего тебе тут болтаться.

Владя побежал, и слышно было, как песок шуршит под его ногами. Вершина осторожно и быстро посмотрела вбок на Передонова сквозь непрерывно выпускаемый ею дым. Передонов сидел молча, глядел прямо перед собою затуманенным взором и жевал карамельку. Ему было приятно, что те ушли, — а то, пожалуй, опять бы засмеялись. Хотя он и узнал, наверное, что смеялись не над ним, но в нем осталась досада —

так после прикосновения жгучей крапивы долго остается и возрастает боль, хотя уже крапива и далече.

— Что вы не женитесь? — вдруг часто и быстро заговорила Вершина. — Чего еще ждете, Ардальон Борисыч! Варвара ваша вам не пара, извините, прямо скажу.

Передонов провел рукою по слегка растрепанным каштанового цвета волосам и с угрюмою важностью молвил:

— Здесь для меня и нет пары.

— Не скажите, — возразила Вершина и криво улыбнулась. — Здесь есть много лучше ее, и за вас всякая пойдет.

Она стряхнула пепел с папиросы решительным движением, словно поставила на чем-то утвердительный знак.

— Всякой мне не надо, — ответил Передонов.

— Не о всякой и речь, — быстро говорила Вершина. — Да вам ведь не за приданым гнаться, была бы девушка хорошая. Вы сами получаете достаточно, слава Богу.

— Нет, — возразил Передонов, — мне выгоднее на Варваре жениться. Ей княгиня протекцию обещала. Она даст мне хорошее место, — говорил Передонов с угрюмым одушевлением.

Вершина слегка улыбалась. Все ее морщинистое и темное, словно прокопченное табаком, личико выражало снисходительную недоверчивость. Она спросила:

— Да вам она говорила это, княгиня-то?

С ударением на слове «вам».

— Не мне, а Варваре, — признался Передонов, — да это все равно.

— Уж слишком вы полагаетесь на слова вашей сестрицы, — злорадно говорила Вершина. — Ну, а скажите, она много старше вас? Лет на пятнадцать? Или больше? Ведь ей под пятьдесят?

— Ну, где там, — досадливо сказал Передонов, — тридцати еще нет.

Вершина засмеялась.

— Скажите пожалуйста, — с нескрываемою насмешкою в голосе сказала она, — а на вид она гораздо старше вас. Конечно, это не мое дело, а только со стороны жалко, что такой хороший молодой человек должен жить не так, как бы он заслуживал по своей красоте и душевным качествам.

Передонов самодовольно оглядывал себя. Но не было улыбки на его румяном лице, и казалось, что он обижен тем, что не все его понимают, как Вершина. А Вершина продолжала:

— Вы и без протекции далеко пойдете. Неужто не оценит начальство! Что ж вам за Варвару держаться! Да и не из Рутиловых же барышень вам жену брать: они — легкомысленные, а вам надо жену степенную. Вот бы взяли мою Марту.

Передонов посмотрел на часы.

— Пора домой, — сказал он и стал прощаться.

Вершина была уверена, что Передонов уходит потому, что она задела его за живое, и что он из нерешительности только не хочет говорить теперь о Марте.

II

Варвара Дмитриевна Малошина, сожительница Передонова, ждала его, неряшливо одетая, но тщательно набеленная и нарумяненная.

Пеклись к завтраку пирожки с вареньем: Передонов их любил. Варвара бегала по кухне вперевалку, на высоких каблуках, и торопилась всё к его приходу приготовить. Варвара боялась, что служанка, — рябая, толстая девица Наталья, — украдет пирожок, а то и больше. Потому Варвара не выходила из кухни и, по обыкновению, бранила служанку. На ее морщинистом лице, хранившем следы былой красоты, неизменно лежало брюзгливо-жадное выражение.

Как всегда при возвращении домой, Передонова охватили недомольство и тоска. Он вошел в столовую шумно, швырнул шляпу на подоконник, сел к столу и крикнул:

— Варя, подавай!

Варвара носила кушанья из кухни, проворно, ковыляя в узких из щегольства башмаках, и прислуживала Передонову сама. Когда она принесла кофе, Передонов наклонился к дымящемуся стакану и понюхал. Варвара встревожилась и пугливо спросила его:

— Что ты, Ардальон Борисыч? Пахнет чем-нибудь кофе?

Передонов угрюмо взглянул на нее и сказал сердито:

— Нюхаю, не подсыпано ли яду.

— Да что ты, Ардальон Борисыч? — испуганно сказала Варвара. — Господь с тобой, с чего ты это выдумал?

— Омегу набуровила! — ворчал он.

— Чего мне за корысть травить тебя, — убеждала Варвара, — полно тебе петрушку валять!

Передонов долго еще нюхал, наконец успокоился и сказал:

— Уж если есть яд, так тяжелый запах непременно услышишь, только поближе нюхнуть в самый пар.

Он помолчал немного и вдруг вымолвил злобно и насмешливо:

— Княгиня!

Варвара заволновалась.

— Что княгиня? Что такое княгиня?

— А то княгиня, — говорил Передонов, — нет, пусть она сперва даст место, а уж потом и я женюсь. Ты ей так и напиши.

— Ведь ты знаешь, Ардальон Борисыч, — заговорила Варвара убеждающим голосом, — что княгиня обещает только, когда я выйду замуж. А то ей за тебя неловко просить.

— Напиши, что мы уже повенчались, — быстро сказал Передонов, радуясь выдумке. Варвара опешила было, но скоро нашлась и сказала:

— Что же врать, — ведь княгиня может справиться. Нет, ты лучше назначь день свадьбы. Да и платье пора шить.

— Какое платье? — угрюмо спросил Передонов.

— Да разве в этом затрапезе венчаться? — крикнула Варвара. — Давай же денег, Ардальон Борисыч, на платье-то.

— Себе в могилу готовишь? — злобно спросил Передонов.

— Скотина ты, Ардальон Борисыч! — укоризненно воскликнула Варвара.

Вдруг Передонов захотелось подразнить Варвару. Он спросил:

— Варвара, знаешь, где я был?

— Ну, где? — беспокойно спросила Варвара.

— У Вершиной, — сказал он и захохотал.

— Нашел себе компанию, — злобно крикнула Варвара, — нечего сказать.

— Видел Марту, — продолжал Передонов.

— Вся в веснушках, — с возрастающей злобой говорила Варвара, — и рот до ушей, хоть лягушке пришей.

— Да уж красивее тебя, — сказал Передонов. — Вот возьму да и женись на ней.

— Женись только на ней, — закричала Варвара, красная и дрожащая от злости, — я ей глаза кислотой выжгу!

— Плевать я на тебя хочу, — спокойно сказал Передонов.

— Не проплюнешь! — кричала Варвара.

— А вот и проплюну, — сказал Передонов.

Встал и с тупым и равнодушным видом плюнул ей в лицо.

— Свинья! — сказала Варвара довольно спокойно, словно плевков освежил ее.

И принялась обтираться салфеткою. Передонов молчал. В последнее время он стал с Варварою грубее обыкновенного. Да и раньше он обходился с нею дурно. Ободренная его молчанием, она заговорила погромче:

— Право, свинья. Прямо в морду попал.

В передней послышался блеющий, словно бараний голос.

— Не ори, — сказал Передонов, — гости.

— Ну, это Павлушка, — ухмыляясь, отвечала Варвара.

Вошел с радостным громким смехом Павел Васильевич Володин, молодой человек, весь, и лицом и ухватками, удивительно похожий на барашка: волосы, как у барашка, курчавые, глаза выпуклые и тупые — все, как у веселого барашка, — глупый молодой человек. Он был столяр, обучался раньше в ремесленной школе, а теперь служил учителем ремесла в городском училище.

— Ардальон Борисыч, дружище! — радостно закричал он, — ты дома, кофеек распиваешь, а вот и я, тут как тут.

— Наташка, носи третью ложку! — крикнула Варвара.

Слышно было из кухни, как Наталья звенела единственною оставшеюся чайною ложкою: остальные были спрятаны.

— Ешь, Павлушка, — сказал Передонов, и видно было, что ему хочется накормить Володина. — А я, брат, уж теперь скоро в инспекторы пролезу, — Варе княгиня обещала.

Володин заликовал и захохотал.

— А, будущий инспектор кофеек распивает! — закричал он, хлопая Передонова по плечу.

— А ты думаешь, легко в инспекторы вылезть? Донесут — и крышка.

— Да что доносить-то? — ухмыляясь, спросила Варвара.

— Мало ли что. Скажут, что я Писарева читал, — и ау!

— А вы, Ардальон Борисыч, этого Писарева на заднюю полочку, — посоветовал Володин, хихикая.

Передонов опасно глянул на Володина и сказал:

— У меня, может быть, никогда и не было Писарева. Хочешь выпить, Павлушка?

Володин выпятил нижнюю губу, сделал значительное лицо знающего себе цену человека и сказал, по-бараньи наклоняя голову:

— Если за компанию, то я всегда готов выпить, а так — ни-ни.

А Передонов тоже всегда готов был выпить. Выпили водки, закусили сладкими пирожками.

Вдруг Передонов плеснул остаток кофе из стакана на обои. Володин вытаращил свои бараньи глазки и огляделся с удивлением. Обои были испачканы, изодраны. Володин спросил:

— Что это у вас обои?

Передонов и Варвара захохотали.

— Назло хозяйке, — сказала Варвара. — Мы скоро выедем. Только вы не болтайте.

— Отлично! — крикнул Володин и радостно захохотал.

Передонов подошел к стене и принялся колотить по ней подошвами. Володин по его примеру тоже лягал стену. Передонов сказал:

— Мы всегда, когда едим, пакостим стены, — пусть помнит.

— Каких лепех насажал! — с восторгом восклицал Володин.

— Иришка-то как обалдеет, — сказала Варвара с сухим и злым смехом.

И все трое, стоя перед стеною, плевали на нее, рвали обои и колотили их сапогами. Потом, усталые и довольные, отошли.

Передонов нагнулся и поднял кота. Кот был толстый, белый, некрасивый. Передонов тербил его, — дергал за уши, за хвост, тряс за шею. Володин радостно хохотал и подсказывал Передонову, что еще можно сделать.

— Ардальон Борисыч, дунь ему в глаза! Погладь его против шерсти!

Кот фыркал и старался вырваться, но не смел показать когтей, — за это его жестоко били. Наконец забава Передонову наскучила, и он бросил кота.

— Слушай, Ардальон Борисыч, что я тебе хотел сказать, — заговорил Володин. — всю дорогу думал, как бы не забыть, и чуть не забыл.

— Ну? — угрюмо спросил Передонов.

— Вот ты любишь сладкое, — радостно говорил Володин, — а я такое кушанье знаю, что ты пальчики оближешь.

— Я сам все вкусные кушанья знаю, — сказал Передонов.

Володин сделал обиженное лицо.

— Может быть, — сказал он, — вы, Ардальон Борисыч, знаете все вкусные кушанья, которые делают у вас на родине, но как же вы можете знать все вкусные кушанья, которые делаются у меня на родине, если вы никогда на моей родине не были?

И, довольный убедительностью своего возражения, Володин засмеялся, заблеял.

— На твоей родине дохлых кошек жрут, — сердито сказал Передонов.

— Позвольте, Ардальон Борисыч, — визгливым и смеющимся голосом говорил Володин, — это, может быть, на вашей родине изволят ку-

шать дохлых кошек, этого мы не будем касаться, а только ерлов вы никогда не кушали.

— Нет, не кушал, — признался Передонов.

— Что же это за кушанье такое? — спросила Варвара.

— А это вот что, — стал объяснять Володин, — знаете вы кутью?

— Ну, кто кутьи не знает, — ухмыляясь, ответила Варвара.

— Так вот, пшенная кутья, с изюмцем, с сахарцем, с миндалем, — это и есть ерлы.

И Володин подробно рассказал, как варят на его родине ерлы. Передонов слушал тоскливо. Кутья, — что ж, его в покойники, что ли, хочет записать Павлушка?

Володин предложил:

— Если вы хотите, чтоб все было, как следует, вы дайте мне материал, а я вам и сварю.

— Пусти козла в огород, — угрюмо сказал Передонов.

«Еще подсыплет чего-нибудь», — подумал он.

Володин опять обиделся.

— Если вы думаете, Ардальон Борисыч, что я у вас стяну сахарцу, так вы ошибаетесь, — мне вашего сахарцу не надо.

— Ну, что там валять петрушку, — перебила Варвара. — Ведь вы знаете, у него все привереды. Приходите и варите.

— Сам и есть будешь, — сказал Передонов.

— Это почему же? — дребезжащим от обиды голосом спросил Володин.

— Потому, что гадость.

— Как вам угодно, Ардальон Борисыч, — пожимая плечами, сказал Володин, — а только я вам хотел угодить, а если вы не хотите, то как хотите.

— А как тебя генерал-то отбрил? — спросил Передонов.

— Какой генерал? — ответил вопросом Володин и покраснел, и обижено выпятил нижнюю губу.

— Да слышали, слышали, — говорил Передонов.

Варвара ухмылялась.

— Позвольте, Ардальон Борисыч, — горячо заговорил Володин, — вы слышали, да, может быть, не дослышали. Я вам расскажу, как все это дело было.

— Ну, рассказывай, — сказал Передонов.

— Это было дело третьего дня, — рассказывал Володин, — об эту самую пору. У нас в училище, как вам известно, производится в мастерской ремонт. И вот, изволите видеть, приходит Верига с нашим инспектором осматривать, а мы работаем в задней комнате. Хорошо. Я не касаюсь, зачем Верига пришел, что ему надо, — это не мое дело. Положим, я знаю, что он — предводитель дворянства, а к нашему училищу касательства не имеет, — но я этого не трогаю. Приходит — и пусть, мы им не мешаем, работаем себе помаленьку, — вдруг они к нам входят, и Верига, изволите видеть, в шапке.

— Это он тебе неуважение оказал, — угрюмо сказал Передонов.

— Изволите видеть, — обрадованно подхватил Володин, — и у нас образ висит, и мы сами без шапок, а он вдруг является таким мамелю-

ком. Я ему и изволил сказать, тихо, благородно: ваше превосходительство, говорю, потрудитесь вашу шапочку снять, потому, говорю, как здесь образ. Правильно ли я сказал? — спросил Володин и вопросительно вытарашил глаза.

— Ловко, Павлушка, — крикнул Передонов, — так ему и надо.

— Конечно, что им спускать, — поддержала и Варвара — Молодец, Павел Васильевич.

Володин с видом напрасно обиженного человека продолжал:

— А он вдруг изволил мне сказать: всякий сверчок знай свой шесток. Повернулся и вышел. Вот как все дело было, и больше никаких.

Володин чувствовал себя все-таки героем. Передонов в утешение дал ему карамелку.

Пришла и еще гостя, Софья Ефимовна Преполовенская, жена лесничего, полная, с добродушно-хитрым лицом и плавными движениями. Ее посадили завтракать. Она лукаво спросила Володина:

— Что это вы, Павел Васильевич, так зачастили к Варваре Дмитриевне?

— Я не к Варваре Дмитриевне изволил прийти, — скромно ответил Володин, — а к Ардальону Борисычу.

— Уж не влюбились ли вы в кого-нибудь? — посмеиваясь, спрашивала Преполовенская.

Всем известно было, что Володин искал невесты с приданым, сватался ко многим и получал отказ. Шутка Преполовенской показалась ему неуместною. Дрожанием голосом, напоминая всею своею повадкою разобиженного баранчика, он сказал:

— Если я влюбился, Софья Ефимовна, то это ни до кого не касается, кроме меня самого и той особы, а вы таким манером выходите в сторонке.

Но Преполовенская не унималась.

— Смотрите, — говорила она, — влюбите вы в себя Варвару Дмитриевну, кто тогда Ардальону Борисычу сладкие пирожки станет печь?

Володин выпятил губы, поднял брови и уже не знал, что сказать.

— Да вы не робейте, Павел Васильевич, — продолжала Преполовенская, — чем вы не жених! И молоды, и красивы.

— Может быть, Варвара Дмитриевна и не захотят, — сказал Володин, хихикая.

— Ну, как не захотят, — ответила Преполовенская, — уж больно вы скромны некстати.

— А, может быть, и я не захочу, — сказал Володин, ломаясь. — Я, может быть, и не хочу на чужих сестрицах жениться. У меня, может быть, на родине своя двоюродная племянница растет.

Уже он начал верить, что Варвара не прочь за него выйти. Варвара сердилась. Она считала Володина дураком; да и получал он вчетверо меньше, чем Передонов. Преполовенской же хотелось женить Передонова на своей сестре, дебелой поповне. Поэтому она старалась поссорить Передонова с Варварою.

— Что вы меня сватаете, — досадливо сказала Варвара, — вот вы лучше вашу меньшую за Павла Васильевича сватайте.

— Зачем же я стану его от вас отбивать! — шутливо возразила Преполовенская.

Шутки Преполовенской дали новый оборот медленным мыслям Передонова; да и ерлы крепко засели в его голове. С чего это Володин выдумал такое кушанье? Передонов не любил размышлять. В первую минуту он всегда верил тому, что ему скажут. Так поверил он и влюбленности Володина в Варвару. Он думал: вот окрутят с Варварой, а там, как поедут на инспекторское место, отравят его в дороге ерлами и подменят Володиным: его похоронят как Володина, а Володин будет инспектором. Ловко придумали!

Вдруг в передней послышался шум. Передонов и Варвара испугались: Передонов неподвижно устал на дверь прищуренные глаза. Варвара подкралась к двери в залу, едва приоткрыла ее, заглянула, потом так же тихо, на цыпочках, балансируя руками и растерянно улыбаясь, вернулась к столу. Из передней доносились визгливые крики и шум, словно там боролись, Варвара шептала:

— Ершиха — пьяная-распьяная, Наташка ее не пускает, а она в залу так и прет.

— Как же быть? — испуганно спросил Передонов.

— Надо перейти в залу, — решила Варвара, — чтоб она сюда не залезла.

Пошли в залу, а двери за собой плотно закрыли. Варвара вышла в прихожую со слабою надеждою задержать хозяйку или посадить ее в кухню. Но нахальная баба ворвалась-таки в залу. Она, подбочась, остановилась у порога и сыпала ругательные слова в виде общего приветствия. Передонов и Варвара суетились около нее и старались усадить ее на стул поближе к прихожей да подальше от столовой. Варвара вынесла ей из кухни на подносе водки, пива, пирожков. Но хозяйка не садилась, ничего не брала и рвалась в столовую, да только никак не могла признать, где дверь. Она была красная, растрепанная, грязная, и от нее далеко пахло водкою. Она кричала:

— Нет, ты меня за свой стол посади. Что ты мне выносишь на подносе! Я на скатерке хочу. Я — хозяйка, так ты меня почти. Ты не гляди, что я — пьяная. Зато я — честная, я — своему мужу жена.

Варвара, трусливо и нагло ухмыляясь, сказала:

— Да уж мы знаем.

Ершова подмигнула Варваре, хрипло захохотала и ухарски щелкнула пальцами. Она становилась все более дерзкою.

— Сестра! — кричала она. — Знаем мы, какая ты есть сестра. А отчего к тебе директорша не ходит? а? что?

— Да ты не кричи, — сказала Варвара.

Но Ершова закричала еще громче:

— Как ты можешь мне указывать! Я в своем доме, что хочу, то и делаю. Захочу — и сейчас вас выгоню вон, и чтобы духу вашего не пахло. Но только я к вам милостива. Живите, ничего, только чтоб не фордыбачить.

Меж тем Володин и Преполовенская скромненько посиживали у окна да помалкивали. Преполовенская легонечко усмехалась, посмат-

ривала искоса на буянку, а сама притворялась, что глядит на улицу. Володин сидел с обиженно-значительным выражением на лице.

Ершова на время пришла в благодушное настроение и дружелюбно сказала Варваре, пьяно и весело улыбаясь ей и похлопывая ее по плечу:

— Нет, ты меня послушай-ка, что я тебе скажу, — ты меня за свой стол посади, да барского разговорцу мне поставь. Да поставь ты мне сладких жамочек, почти хозяйку домовую, так-то, милая ты моя девушка.

— Вот тебе пирожки, — сказала Варвара.

— Не хочу пирожков, хочу барских жамочек, — закричала Ершова, размахивая руками и блаженно улыбаясь, — скусные жамочки господа жрут, и-их скусные!

— Нет у меня никаких тебе жамочек, — отвечала Варвара, делаясь смелее оттого, что хозяйка становилась веселее, — вот, дают тебе пирожки, так и жри.

Вдруг Ершова разобрала, где дверь в столовую. Она неистово взревела:

— Дай дорогу, ехидина!

Оттолкнула Варвару и кинулась к двери. Ее не успели удержать. Наклонив голову, сжав кулаки, ворвалась она в столовую, с треском распахнув дверь. Там она остановилась близ порога, увидела испачканные обои и пронзительно засвистала. Она подбоченилась, лихо отставила ногу и неистово крикнула:

— А, так вы и в самом деле хотите съезжать!

— Что ты, Иринья Степановна, — дрожащим голосом говорила Варвара, — мы и не думаем, полно тебе петрушку валять.

— Мы никуда не уедем, — подтверждал Передонов, — нам и здесь хорошо.

Хозяйка не слушала, подступала к оторопелой Варваре и размахивала кулаками у ее лица. Передонов держался позади Варвары. Он бы и убежал, да любопытно было посмотреть, как хозяйка и Варвара подерутся.

— На одну ногу стану, за другую дерну, пополам разорву! — свирепо кричала Ершова.

— Да что ты, Иринья Степановна, — уговаривала Варвара, — перестань, у нас гости.

— А подавай сюда гостей! — закричала Ершова. — Гостей-то твоих мне и нужно!

Ершова, шатаясь, ринулась в залу и, вдруг переменяв совершенно и речь и все свое обращение, смиренно сказала Преполовенской, низко кланяясь ей, причем едва не свалилась на пол:

— Барыня милая, Софья Ефимовна, — простите вы меня, бабу пьяную. А только, что я вам скажу, послушайте-ка. Вот вы к ним ходите, а знаете, что она про вашу сестрицу говорит? И кому же? Мне, пьяной сапожнице! Зачем? Чтобы я всем рассказала, вот зачем!

Варвара багрово покраснела и сказала:

— Ничего я тебе не говорила.

— Ты не говорила? Ты, касть поганая? — закричала Ершова, подступая к Варваре со сжатыми кулаками.

— Ну, замолчи, — смущенно пробормотала Варвара.

— Нет, не замолчу, — злорадно крикнула Ершова и опять обратилась к Преполовенской. — Что она с вашим мужем будто живет, ваша сестра, вот, что она мне говорила, паскудная.

Софья сверкнула сердитыми и хитрыми глазами на Варвару, встала и сказала с притворным смехом:

— Благодарю покорно, не ожидала.

— Врешь! — злобно взвизгнула на Ершову Варвара.

Ершова сердито гукнула, топнула и махнула рукою на Варвару и сейчас же снова обратилась к Преполовенской:

— Да и барин-то про вас, матушка-барыня, что говорит! Что вы будто раньше таскались, а потом замуж вышли! Вот они какие есть, самые мерзкие люди! Плюньте вы им в морды, барыня хорошая, чем с такими расподлыми людишками вожжаться.

Преполовенская покраснела и молча пошла в прихожую. Передонов побежал за нею, оправдываясь:

— Она врет, вы ей не верьте. Я только раз сказал при ней, что вы — дура, да и то со злости, а больше, ей-богу, ничего не говорил, — это она сама сочинила.

Преполовенская спокойно отвечала:

— Да что вы, Ардальон Борисыч! Ведь я вижу, что она пьяная, сама не помнит, что мелет. Только зачем вы все это позволяете в своем доме?

— Вот, поди, знай, — ответил Передонов, — что с нею сделаешь!

Преполовенская, смущенная и сердитая, надевала кофту. Передонов не догадался помочь ей. Еще он бормотал что-то, но уже она не слушала его. Тогда Передонов вернулся в залу. Ершова принялась крикливо упрекать его. Варвара выбежала на крыльцо и утешала Преполовенскую.

— Ведь вы знаете, какой он дурак, что говорит, сам не знает.

— Ну, полноте, что вы беспокоитесь, — отвечала ей Преполовенская. — Мало ли что пьяная баба сболтнет.

Около дома, на дворе, куда выходило крыльцо, росла крапива, густая, высокая. Преполовенская слегка улыбнулась, и последняя тень недовольства сбежала с ее белого и полного лица. Она по-прежнему стала приветлива и любезна с Варварою. Обида будет отомщена и без ссоры. Вместе пошли они в сад переждать хозяйкино нашествие.

Преполовенская все посматривала на крапиву, которая и в саду обильно росла вдоль заборов. Она сказала наконец:

— Крапивы-то у вас сколько. Вам она не нужна?

Варвара рассмеялась и ответила:

— Ну вот, на что мне она!

— Коли вам не жалко, надо у вас нарвать, а то у нас нету, — сказала Преполовенская.

— Да на что она вам? — с удивлением спросила Варвара.

— Да уж надо, — сказала Преполовенская, посмеиваясь.

— Душечка, скажите, на что? — взмолилась любопытная Варвара.

Преполовенская, наклонившись к Варварину уху, шепнула:

— Крапивой натирать — с тела не спадешь. От крапивы-то и моя Геничка такая толстуха.

Известно было, что Передонов отдает предпочтение жирным жен-

щинам, а тощих порицает. Варвару сокрушало, что она тонка и все худеет. Как бы нагулять побольше жиру? — вот в чем была одна из главнейших ее забот. У всех спрашивала она: не знаете ли средства? Теперь Преполовенская была уверена, что Варвара по ее указанию будет натираться крапивою, так сама себя накажет.

III

Передонов и Ершова вышли на двор. Он бормотал:

— Вот поди ж ты.

Она кричала во все горло и была веселая. Они собирались плясать. Преполовенская и Варвара пробрались через кухню в горницы и сели у окна смотреть, что будет на дворе.

Передонов и Ершова обнялись и пустились в пляс по траве кругом груши. Лицо у Передонова по-прежнему оставалось тупым и не выражало ничего. Механически, как на неживом, прыгали на его носу золотые очки и короткие волосы на его голове. Ершова повизгивала, покрикивала, помахивала руками и вся шаталась.

Она крикнула Варваре в окно:

— Эй, ты, фря, выходи плясать! Ай гнушаешься нашей компанией? Варвара отвернулась.

— Черт с тобой! Уморилась! — крикнула Ершова, повалилась на траву и увлекла с собою Передонова.

Они посидели, обнявшись, потом опять заплясали. И так несколько раз повторялось: то пляшут, то отдохнут под грушею, на скамеечке или прямо на траве.

Володин искренне веселился, глядя из окна на пляшущих. Он хохотал, строил уморительные гримасы, корчился, сгибал колени вверх и вскрикивал:

— Эх их разбирает! Потеха!

— Стерва проклятая, — сердито сказала Варвара.

— Стерва, — согласился Володин, хохоча, — погоди ж, хозяйюшка любезная, я тебе удружу. Давайте пачкать и в зале. Теперь уже все равно сегодня не вернется, упаточится там на травке, пойдет спать.

Он залился блеющим смехом и запрыгал бараном. Преполовенская подстрекала:

— Конечно, пачкайте, Павел Васильевич, что ей в зубы смотреть. Если и придет, так ей можно будет сказать, что это она сама с пьяных глаз так отделала.

Володин, прыгая и хохоча, побежал в залу и принялся шаркать подшвами по обоям.

— Варвара Дмитриевна, дайте веревочку, — закричал он.

Варвара, ковьяля, словно утка, пошла через залу в спальню и принесла оттуда конец веревки, измочаленный и узловатый. Володин сделал петлю, поставил среди залы стул и подвесил петлю на крюк для лампы.

— Это для хозяйки! — кричал он. — Чтоб было на чем повеситься со злости, когда вы уедете.

Обе дамы визжали от хохота.

ТВОРИМАЯ ЛЕГЕНДА

Часть первая

КАПЛИ КРОВИ

Глава первая

Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я — поэт. Косней во тьме, тусклая бытовая, или бушуй яростным пожаром, — над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном.

В спутанной зависимости событий случайно всякое начало. Но лучше начать с того, что и в земных переживаниях прекрасно, или хотя бы только красиво и приятно. Прекрасны тело, молодость и веселость в человеке, — прекрасны вода, свет и лето в природе.

Было лето, стоял светлый, знойный полдень, и на реку Скородень падали тяжелые взоры пламенного Змия. Вода, свет и лето сияли и радовались, сияли солнцем и простором, радовались одному ветру, веющему из страны далекой, многим птицам и двум обнаженным девам.

Две сестры, Елисавета и Елена, купались в реке Скородени. И солнце, и вода были веселы, потому что две девы были прекрасны и были наги. И обеим девушкам было весело, прохладно и хотелось двигаться, и смеяться, и болтать, и шутить. Они говорили о человеке, который волновал их воображение.

Девушки были дочери богатого помещика. Место, где они купались, примыкало к обширному, старому саду их усадьбы. Может быть, им было особенно приятно купаться в этой реке потому, что они чувствовали себя госпожами этих быстротекущих вод и песчаных отмелей под их быстрыми ногами. И они плавали и смеялись в этой реке с уверенностью и свободой прирожденных владельниц и господж. Никто не знает пределов своего господства, — но блаженны утверждающие свое обладание, свою власть!

Они плавали вдоль и поперек реки, состязаясь одна с другою в искусстве плавать и нырять. Их тела, погруженные в воду, представляли восхитительное зрелище, для того, кто смотрел бы на них из сада, со скамейки на высоком берегу, любуясь игрою мускулов под их тонкою, эластичною кожею. В телесно-желтом жемчуге их тел тонули розовые тоны. Но розы побеждали на их лицах и на тех частях тела, которые бывали часто открыты.

Берег против усадьбы был отлогий. Росли кое-где кусты, за ними далеко простирались нивы, и на краю земли и неба виднелись далекие избы подгородной деревни. Крестьянские мальчишки проходили порою по берегу. Они не смотрели на купающихся барышень. Гимназист, пришедший издалека, с другого конца города, сидел на корточках за куста-

ми. Он называл себя телятиною: не захватил фотографического аппарата. Но, утешая себя, он думал: «Завтра непременно возьму».

Гимназист поспешно глянул на часы — заметить, в какое именно время девицы выходят сюда купаться. Он знал девиц, бывал в их доме у своего товарища, их родственника. Теперь младшая, Елена, нравилась ему больше: пухленькая, веселенькая, беленькая, румяньенькая, ручки и ножки маленькие. В старшей, Елисавете, ему не нравились руки и ноги, — они казались ему слишком большими, красными. И лицо красное, очень загорелое, и вся очень большая.

«Ну, ничего, — думал он, — зато она стройная, этого нельзя отнять».

Около года прошло с той поры, как в городе Скородоже поселился отставной приват-доцент, доктор химии Георгий Сергеевич Триродов. О нем в городе с первых же дней говорили много, и больше несочувственно. Неудивительно, что и две розово-желтые черноволосые девушки в воде говорили о нем же. Они плескались водою, подымали ногами жемчужные и алмазные брызги и говорили.

— Как все это неясно! — сказала младшая сестра, Елена. — Никто не знает, откуда его состояние, и что он там делает в своем доме, и зачем ему эта детская колония. Слухи какие-то странные ходят. Неясно, право.

Эти Еленины слова напомнили Елисавете статью, которую она читала на днях в московском философском журнале. У Елисаветы была хорошая память. Она сказала, припоминая:

— В нашем мире не может воцариться разум, не может быть устранено все неясное.

Она хотела припоминать дальше, но вспомнила вдруг, что для Елены это не будет занимательно, вздохнула и замолчала. Елена взглянула на нее с выражением привычного любования и преклонения и сказала:

— Когда так светло, хочется, чтобы и все было ясно, как здесь, вокруг нас.

— А здесь разве ясно? — возразила Елисавета. — Солнце слепит глаза, вода горит и блещет, и в этом бешено-ярком мире мы даже не знаем, нет ли в двух шагах от нас кого-нибудь, кто за нами подсматривает.

Сестры в это время стояли, отдыхая, по грудь в воде, у лугового берега Скородени. Гимназист на корточках за кустом услышал Елисаветины слова. Он похолодел от смущения и на четвереньках пустился меж кустами от реки, забрался в рожь, засел на меже и притворился, что отдыхает, что даже и не знает, где река. Но никто не замечал его, словно его и не было.

Гимназист посидел и пошел домой с неясным чувством разочарования, обиды, недоумения. Почему-то особенно обидно было ему думать, что для двух купальщиц он был только предполагаемою возможностью, тем, чего на самом деле не было.

Все на свете кончается. Кончилось и купанье сестер. Вышли они обе сразу, и не сговариваясь, из отраднo-прохладной, глубинной воды на землю, в воздух, на земное подножие неба, к жарким лобзаниям тяжело и медленно вздымающегося Змия. На берегу они постояли, нежась

Змиевыми лобзаниями, и вошли в закрытую купальню, где были оставлены их одежды, одеваться.

Елисаветин наряд был очень прост. Платье, сшитое туникою, без рукавов, не совсем длинное, зеленовато-желтого цвета, и простая соломенная шляпа. Елисавета почти всегда носила желтые платья. Она любила желтый цвет, курослеп и золото. Хотя она и говорила иногда, что носит желтое, чтобы не казаться слишком красною, но на самом деле она любила желтый цвет просто искренно и бескорыстно. Желтый цвет радовал Елисавету. В этом было очень далекое, досознательное воспоминание, словно из иной жизни, прежней.

Тяжелая черная Елисаветина коса была плотно и красиво положена вокруг головы. Сзади коса была высоко поднята и открывала сильно загорелую, стройно поставленную шею. На прекрасном Елисаветином лице было ярко, почти с излишнею силою, выражено преобладание волевой и интеллектуальной жизни над эмоциональною. Был очарователен странно-прямой и длинный разрез губ. Сини были ее глаза, веселые, когда и губы не улыбаются. И веселый, и задумчивый, и нежный был их взгляд. На этом лице казались неожиданно-странными яркий румянец и сильный загар.

Елисавета ждала, когда оденется Елена, медленно ходила по песчаному берегу и всматривалась в однообразные дали. Мелкие, теплые песчинки ласково грели похолодевшие в воде, нагие стопы.

Елена одевалась не торопясь. Так ей нравилось, казалось таким украшающим все, что наденет. Она любовалась розовыми рефлексам на своей коже, своим нарядным и легким платьем из светло-розовой, почти белой, ткани, широким розовым шелковым поясом, замкнутым сзади перламутровою пряжкой, соломенною шляпою со светло-розовыми лентами, подбитою желтовато-розовым атласом.

Наконец Елена оделась. Сестры поднялись по отлогой дорожке вверх от берега, и ушли, туда, куда влекло их любопытство. Они любили делать продолжительные прогулки пешком. Несколько раз проходили раньше мимо дома и усадьбы Георгия Триродова, которого они еще ни разу не видели. Сегодня им захотелось опять идти в ту сторону, и постараться заглянуть, увидеть что-нибудь.

Сестры прошли версты две лесом. Тихо говорили они о разном и слегка волновались. Любопытство часто волнует.

Извилистая лесная дорожка с двумя тележными колеями открывала на каждом повороте живописные виды. Наконец выбранная сестрами дорожка привела их к оврагу. Его заросшие кустами и жесткою травкою склоны были дики и красивы. Из глубины оврага доносился сладкий и теплый запах донника, и виднелись там, внизу, его белые метелки. Над оврагом висел узенький мостик, подпертый снизу тонкими кольями. За мостиком тянулась вправо и влево невысокая изгородь, и в ней, прямо против мостика, видна была калитка.

Сестры перешли мостик, придерживаясь за его тонкие, березовые перильца. Потрогали калитку — заперта. Посмотрели одна на другую. Елисавета, досадливо краснея, сказала:

— Надо вернуться.

— Да, вот и все говорят, что туда не попасть, — сказала Елена, — что

надо через изгородь перелезть, да и то не перелезть почему-то. Странно, какие же там у них секреты?

В кустах у изгороди послышался тихий шорох. Ветки раздвинулись. Тихо подбежал бледный мальчик. Быстро глянул на сестер ясными, но слишком спокойными, словно неживыми глазами. Елисавете показался странным склад его бледных губ. Какое-то неподвижно-скорбное выражение таилось в уголках его рта. Он открыл калитку; кажется, сказал что-то, но так тихо, что сестры не расслышали. Или это легкий ветер прошумел в упругих ветках?

Мальчик скрылся за кустами так быстро, словно его и не было. Так быстро, что сестры не успели ни удивиться, ни сказать спасибо. Точно сама калитка распахнулась, или одна из сестер толкнула ее, не замечая.

Они постояли в нерешительности. Непонятное смущение на короткое мгновение охватило обеих и быстро рассеялось. Любопытство поднялось опять. Сестры вошли.

— Как же он открыл? — спросила Елена.

Елисавета молча и скоро шла вперед. Ей было радостно, что попали. И уже не хотела она думать о бледном мальчике, забыла его. Только где-то, в неясном поле сознания, тускло мерцал белый и странный лик.

Был все такой же лес, как и до калитки, такой же задумчивый, и высокий, и разоблачающий с небом, чарующий своими тайнами. Но здесь он казался побежденным человеческою деятельною жизнью. Где-то недалеко слышались голоса, крики, смех. Кое-где попадались оставленные игры. Тропинки выходили иногда на усыпанные песком широкие дорожки. Сестры быстро шли по извилистой тропинке в ту сторону, откуда сильнее звучали детские голоса, вскрики, смехи и взвизги. Потом все это многообразие звуков стянулось и растворилось в звонком и сладком пении.

Наконец перед сестрами открылась небольшая прогалина овальной формы. Высокие сосны обстали вокруг этой лужайки так ровно, как стройные колонны великолепной залы. И над нею небесная синева была особенно яркою, чистою и торжественною. На прогалине было много детей разного возраста. В различных местах они сидели и лежали поодиночке, по два, по три. В середине десятка три мальчиков и девочек пели и танцевали, и танец их строго следовал ритму песни и с прекрасною точностью передавал ее слова. Их пением и танцем управляла высокая и стройная девушка с сильным, звучным голосом, роскошными золотистыми косами и серыми веселыми глазами.

Все, и дети, и наставницы их, — которых видно было три или четыре, — одеты были одинаково, совсем просто. Простая и легкая одежда их казалась красивою. На них приятно было смотреть, может быть, потому, что их одежда открывала деятельные члены тела, руки и ноги. Одежда должна защищать, а не закрывать, — одевать, а не окутывать.

Синие и красные пятна шапочек и одежд красиво выделяли светлые тона лиц, рук и ног. И было весело, и казалось, под этою высокою и ясною лазурью, таким праздничным и чистым это обилие ярких и светлых тонов и смело открытого тела.

Несколько детей, из тех, которые не пели, подошли к сестрам и смотрели на них, ласково и доверчиво улыбаясь.

— Можно посидеть, — сказал мальчуган с очень синими глазами, — вот скамеечка.

— Спасибо, миленький, — сказала Елисавета.

Сестры сели. Детям хотелось говорить. Одна маленькая девочка сказала:

— А я сейчас белочку видела. На елке сидела. А я как крикнула! а она как побежит!

И другие начали рассказывать и спрашивать. А те перестали петь, разбежались играть. Золотоволосая учительница подошла к сестрам и спросила:

— Вы из города? Вам у нас нравится?

— Да, у вас хорошо, — сказала Елисавета. — У нас рядом усадьба. Мы — Рамеевы. Я — Елисавета. А это моя сестра, Елена.

Золотоволосая девица покраснела, словно застыдилась, что богатые барышни видят ее нагие плечи и ее босые, до колен открытые ноги. Но увидев, что и барышни, как она, не обуты, она утешилась и улыбнулась.

— Я — Надежда Вещезерова, — сказала она.

И внимательно посмотрела на сестер. Елисавета подумала, что она слышала эту фамилию где-то в городе: что-то рассказывали, не помнила что. Почему-то она не сказала об этом Надежде. Может быть, слышала какую-то тяжелую историю?

Это случилось иногда с Елисаветою, — боязнь спрашивать о прошлом. Кто знает, сколько темного кроется за ясною улыбкою, из какой тьмы возникло цветение, внезапно обрадовавшее взор обманчивою красотою, красотою неверных земных переживаний.

— Легко нашли нас? — спрашивала золотоволосая Надежда, ласково и лукаво улыбаясь. — К нам не так-то просто попасть, — пояснила она.

Елисавета сказала:

— Нам открыл калитку белый мальчик. И так быстро убежал, что мы не успели и поблагодарить. Такой бледный и тихий.

Надежда вдруг перестала улыбаться.

— Да, это — нездешний, — с запинкою сказала она. — Они там живут, у Триродова. Их несколько. Не хотите ли позавтракать с нами? — спросила она, быстро оборвав прежнюю свою речь.

Елисавете показалось, что Надежда хочет переменить разговор.

— Мы здесь живем весь день, и едим, и учимся, и играем, все здесь, — говорила Надежда. — Люди строили города, чтобы уйти от зверя, а сами озверели, одичали.

Горькие ноты зазвучали в ее голосе — отзвуки пережитого? или чуть-чуть воспринятое чужое? Она говорила:

— Мы идем из города в лес. От зверя, от одичания в городах. Надо убить зверя. Волки, лисицы, коршуны — хищные, жестокие. Надо убить.

Елисавета спросила:

— Как же убить зверя, который отрастил себе железные и стальные когти и угнездился в городах? Он сам убивает, и не видно конца его злодействам.

Надежда нахмурила брови, стиснула руки и упрямо повторяла:

— Мы его уьем, уьем.

Глава вторая

Сестры не отказались от угощения. Их напоили и накормили. Они пробыли здесь более часа: весело разговаривали с детьми и с учительницами. Дети были милы и доверчивы. Учительницы, простые и милые, как дети, и такие же, как дети, веселые, казались беспечными и отдыхающими. Но они были постоянно заняты и все успевали заметить, что требовало их внимания. Впрочем, многие дети затевали и исполняли сами, пользуясь какою-то организацией, которая для сестер осталась еще неизвестною.

Здесь с игрою смешивалось учение. Одна из учительниц пригласила сестер послушать то, что она называла своим уроком. Сестры слушали с удовольствием живую беседу по поводу сегодняшних детских наблюдений в лесу. Были еще учительницы, пришедшие откуда-то из глубины леса, — и дети то уходили в лес, то приходили оттуда все иные.

Учительница, которую слушали сестры, окончила свою беседу и вдруг быстро убежала куда-то. И дети ушли за нею. За темною зеленью деревьев мелькали красные шапочки, загорелые руки и ноги учительницы и детей. Сестры остались опять одни. Уже никто не обращал на них особого внимания. Они, видимо, никого не стесняли, никому не мешали.

— Пора уходить, — сказала Елена.

Елисавета встала.

— Что ж, пойдем, — сказала она. — С ними очень, интересно и легко, но не все ж тут сидеть.

Уход сестер был замечен. Несколько ребятшек подбежали к ним. Дети весело кричали:

— Мы вас проводим, а то вы заблудитесь.

Когда сестры подошли к выходу, Елисавете показалось, что кто-то смотрит на нее, таясь и дивясь. Она с недоумением, странным и тягостным, огляделась по сторонам. За изгородью, за кустами таились мальчик и девочка. Такие же, как будто бы как и все здешние, но очень белые, словно поцелуи злого Дракона, катящегося в жарком небе, не обжигали их нежной кожи. И мальчик, и девочка смотрели неподвижно, внимательно. Их непорочный взор казался проникающим в самую глубину души, и это почему-то смутило Елисавету. Она шепнула Елене:

— Взгляни, какие странные!

Елена глянула по направлению Елисаветина взора и равнодушно сказала:

— Уродцы.

Елисавета удивилась этому странному определению, — лица этих таящихся детей были, как лица молящихся ангелов.

В это время дети, провожавшие сестер, смеясь и толкаясь, побежали назад. С сестрами остался один мальчик. Он открыл калитку и ждал, когда сестры выйдут, чтобы опять закрыть ее. Елисавета тихо спросила у него:

— Кто это?

Она легким движением головы показала ему на кусты, за которыми таились мальчик и девочка. Веселый мальчуган поглядел по направлению ее взгляда, потом перевел глаза на нее и сказал:

— Там никого нет.

И в самом деле, уже никого не видно было в кустах. Елисавета сказала:

— Но я там видела мальчика и девочку. Оба такие беленькие, совсем не такие загорелые, как вы. Стояли такие смиренные и смотрели.

Веселый черноглазый мальчик внимательно посмотрел, на Елисавету, слегка нахмурился, опустил глаза, подумал, опять глянул на сестер внимательно и печально и сказал:

— Там, в главном доме, у Георгия Сергеевича, есть еще тихие дети. Они с нами не бывают. Они — тихие. Не играют. Они были больные. Должно быть, еще не поправились. Я не знаю. Только они отдельно.

Мальчик говорил это медленно и задумчиво, словно дивясь, что там, в доме хозяина, есть иные, тихие дети, которые не приходят играть. Вдруг он весело тряхнул головою, словно отгоняя от себя недолжные мысли, снял свою шапочку и крикнул весело и ласково:

— Счастливого пути, милые сестрицы! Идите вот по этой тропинке.

Он поклонился, убежал, — и уже никого не было около сестер. Они пошли, куда им показал мальчуган. Перед ними открылась тихая долина, и видна была вдали белая стена, за которою таился дом Триродова. Сестры пошли дальше, к этому дому. Перед ними, притаясь за кустами, шел мальчик в белой одежде, словно показывал им дорогу.

Было тихо. Высоко, заслоняя от людей темно-лиловыми щитами, стоял пламенный Дракон. Он смотрел горячо и злобно из-за обманчивых, зыбких щитов, разливал яркий свет, томил, — и хотел, чтобы ему радовались, чтобы ему слагали гимны. Он хотел царить, и казалось, что он недвижим, что он никогда не захочет идти на покой. Но уже багровая усталость начинала клонить его к западу. И он свирепел, и поцелуй его были знойны, и бешеный взор его багряно туманил девичьи взоры.

Искали девичьи взоры, искали дом Триродова.

Дом Триродова стоял в полутора верстах от городской окраины, не у того конца, где дымные и грязные лежали фабричные слободы, а совсем в противоположной стороне, по реке Скородени выше города Скородожа. Этот дом с усадьбою занимал обширный околоток, обнесенный каменною стеною. Одна сторона усадьбы выходила на реку, другая — к городу, остальные — в поле и в лес. Дом стоял в середине старого сада. Из-за каменного белого высокого забора виднелись только вершины деревьев, и между ними, высоко, две башенки над домом, одна несколько выше другой. Казалось, что кто-то смотрит с этой башни на подходящих сестер.

О доме шла дурная молва еще с того времени, когда он принадлежал прежнему владельцу, Матову, родственнику сестер Рамеевых. Говорили, что дом населен привидениями и выходцами из могил. Была тропинка у дома с северной стороны усадьбы, которая вела через лес на Крутицкое кладбище. В городе дорожку эту называли Навьею тропею, и по ней боялись ходить даже и днем. О ней складывались легенды. Местная интеллигенция старалась их разрушить, но тщетно. Самую усадьбу иногда называли Навьим двором. Иные рассказывали, что своими глазами видели на воротах загадочную надпись: «Вошли трое, вышли двое». Но те-

перь этой надписи не было. Видны были только над воротами легко иссеченные цифры, одна под другою: наверху 3, потом 2, внизу 1.

Все злые слухи и отговаривания не помешали Георгию Сергеевичу Триродову купить дом. Он переделал дом, а потом и поселился здесь после того, как его сравнительно недолгая учебная служба была грубо прервана. Долго перестраивали и переделывали дом. Из-за высоких стен не видно было, что там делалось. Это возбуждало любопытство горожан и злые толки. Работники были нездешние, привезенные откуда-то издалека. Они не понимали нашей речи, редко показывались на улицах, имели угрюмый вид, были смуглы и малорослы.

— Злые, черные, — говорили в городе, — ножики с собой носят, а в Навьем дворе подземные ходы роют. Сам бритый, как немец, и землякопов изчужа выписал.

— Эта учительница рыженькая, Надежда Вещезерова, мне понравилась, — сказала Елена.

Она вопросительно посмотрела на сестру.

— Да, она очень искренняя, — ответила Елисавета. — Хорошая девочка.

— Они все милые, — более уверенно сказала Елена.

— Да, — нерешительно сказала Елисавета. — А вот другая, та, которая от нас убежала, в ней есть что-то непрямое. Точно легкий налет лицемерия.

— Почему? — спросила Елена.

— Так, чувствуется. Слишком любезно улыбается. Слишком ласково. По всему видно, что флегматична, а старается быть очень живою. И словечки порою проскальзывают такие, преувеличенные.

За каменную стеною в саду было тихо. В этот час Кирша был свободен. Но он не мог играть, — не игралось.

Маленький Кирша, сын Триродова от его недавно умершей жены, был смуглый и худенький. У него было слишком подвижное лицо и беспокойные черные глаза. Одет он был, как мальчик в лесу. Он был сегодня неспокоен. Почему-то ему было жутко. Он чувствовал себя так, словно кто-то невидимый его тянет, зовет неслышным шепотом, чего-то требует — чего? И кто это к их дому подходит? Зачем? Друг или враг? Кто-то чужой, — но странно близкий.

В ту минуту, когда сестры вышли от детей в лесу, Кирша был особенно взволнован. Он увидел в дальнем углу сада мальчика в белой одежде и побежал к нему. Они тихо и долго говорили. Потом Кирша пошел к отцу.

Георгий Сергеевич Триродов был дома один. Лежал на диване, он читал роман Уайльда.

Триродову было лет сорок. Он был тонок и строен. Коротко остриженные волосы, бритое лицо — это его очень молодило. Только поближе присмотрясь, могли заметить много седых волос, морщины на лице

около глаз, на лбу. Лицо у него было бледное. Широкий лоб казался очень большим — эффект узкого подбородка, худых щек и лысины.

Комната, где читал Триродов, его кабинет, была большая, светлая и простая, с белым, некрашеным, зеркально-ровным полом. Стены были заставлены открытыми книжными шкафами. В стене против окон между шкафами оставалось узкое, человеку стать, место. Казалось почему-то, что там есть дверь, скрытая под обоями. Посередине комнаты стоял стол, очень большой. На нем лежали книги, бумаги и еще несколько странных предметов — шестигранные призмы из неизвестного материала, тяжелые, плотные, темно-красного цвета, с багровыми, синими, серыми и черными пятнами и прожилками.

Кирша стукнул в дверь и вошел, — тихий, маленький, взволнованный. Триродов глянул на него тревожно. Кирша сказал:

— Две барышни там, в лесу. Такие любопытные. По нашей колонии ходили. Теперь им хочется сюда попасть. Походить, посмотреть.

Триродов опустил на страницу романа бледно-зеленую ленту с легко намеченным узором, положил книгу на столик у дивана, взял Киршу за руку, притянул к себе, внимательно посмотрел на него, слегка шурясь, и тихо сказал:

— Опять тихих мальчиков выпрашивал.

Кирша покраснел, но стоял прямо и спокойно. Триродов продолжал упрекать:

— Сколько раз я говорил тебе, что это нехорошо! И для тебя худо, и для них.

— Им все равно, — тихо сказал Кирша.

— Почему ты знаешь? — сказал Триродов.

Кирша дернул плечом и сказал упрямо:

— Зачем же они здесь? На что они нам?

Триродов отвернулся, встал порывисто, подошел к окну и мрачно смотрел в сад. словно что-то взвешивалось в его сознании, все еще не решенное. Кирша тихонько подошел к нему, так тихо ступая по белому, теплomu полу загорелыми стройными ногами с широкими стопами, высоким подъемом и длинными, красиво и свободно развернутыми пальцами. Он тронул отца за плечо, — тихо положил на его плечо загорелую руку — и тихо сказал:

— Ты же ведь знаешь, мой миленький, что я это делаю редко, когда уже очень надо. А сегодня очень я беспокоился. Уж я так и знал, что будет что-то.

— Что будет? — спросил отец.

— Да уж я чувствую, — сказал Кирша просящим голосом, — что надо тебе пустить их к нам. Любопытных-то этих барышень.

Триродов посмотрел на сына очень внимательно и улыбнулся. Кирша, не улыбаясь, говорил:

— Старшая хорошая. Чем-то похожа на маму. Да и другая тоже ничего, милая.

— Зачем же они ходят? — опять спросил Триродов. — Подождали бы, пока их старшие сюда приведут.

Кирша улыбнулся, потом вздохнул легонько и сказал раздумчиво, пожимая плечиками:

— Женщины все любопытны. Что ты с ними поделаешь!

Улыбаясь не то радостно, не то жестоко, спросил Триродов:

— А мама к нам не придет?

— Ах, пусть бы пришла, хоть на минуточку! — воскликнул Кирша.

— Что же нам делать с этими девицами? — спросил Триродов.

— Пригласи их, покажи им дом, — сказал Кирша.

— И тихих детей? — тихо спросил Триродов.

— Тихим детям тоже понравилась старшая, — отвечал Кирша.

— А кто они, эти девицы? — спросил Триродов.

— Да это наши соседки, Рамеевы, — отвечал Кирша.

Триродов усмехнулся и сказал:

— Да, понятно, им любопытно.

Он нахмурился, подошел к столу, взял в руки одну из темных тяжелых призм, слегка приподнял, опять осторожно поставил на место и сказал Кирше:

— Иди же, встреть их и проводи сюда.

Кирша, радостно оживляясь, спросил:

— Через двери или гротом?

— Да, проводи их темным ходом, под землю.

Кирша вышел. Триродов остался один. Он открыл ящик письменного стола, вынул флакон странной формы зеленого стекла с темной жидкостью и посмотрел в сторону потайной двери. В ту же минуту она открылась тихо и плавно. Вошел мальчик, бледный, тихий, и посмотрел на Триродова покойными глазами, тихими, невинными, но понимающими.

Триродов подошел к нему. Упрек зрел на его языке. Но он не мог сказать упрека. Жалость и нежность прилипли к его губам. Он молча дал мальчику флакон странной формы. Мальчик тихо вышел.

Глава третья

Сестры вошли в перелесок. Повороты дорог закружили их. Вдруг пропали из виду башенки старого дома. И все вокруг показалось незнакомым.

— Да мы заблудились, — весело сказала Елена.

— Как-нибудь выйдем, — ответила Елисавета. — Куда-нибудь выйдем.

В это время навстречу им из кустов вышел Кирша, маленький, загорелый, красивый. Черные, сросшиеся брови и неприкрытые шапкою черные вьющиеся на голове волосы придавали ему дикий вид лесного зоя.

— Миленький, откуда ты? — спросила Елисавета.

Кирша смотрел на сестер внимательно, прямым и невинным взглядом. Он сказал:

— Я — Кирша Триродов. Идите прямо по этой дорожке, — вот и попадете, куда вам надо. Идите за мною.

Он повернулся и пошел. Сестры шли за ним по узкой дорожке меж высоких деревьев. Кое-где цветы виднелись, — мелкие, белые, паху-

чие. От цветов поднимался странный, пряный запах. Сестрам стало весело и томно. Кирша молча шел перед ними.

Дорога окончилась. Перед сестрами возвышался холм, заросший перепутанною, некрасивою травою. У подножия холма виднелась ржавая дверь, — словно там хранилось что-то.

Кирша пошарил в кармане, вынул ключ и открыл дверь. Она неприятно закрипела, зевнула холодом, сыростью и страхом. Стал виден далекий, темный ход. Кирша нажал какое-то около двери место. Темный ход осветился, словно в нем зажглись электрические лампочки. Но ламп не было видно.

Сестры вошли в грот. Свет лился отовсюду. Но источников света сестры не могли заметить. Казалось, что светились самые стены. Очень равномерно разливался свет, и нигде не видно было ни ярких рефлексов, ни теневых пятен.

Сестры шли. Теперь они были одни. Дверь за ними со скрипом заперлась. Кирша убежал вперед. Сестры скоро перестали его видеть. Коридор был извилист. Почему-то сестры не могли идти скоро. Какая-то тяжесть сковывала ноги. Казалось, что этот ход идет глубоко под землей, — он слегка склонялся. И шли так долго. Было сыро и жарко. И все жарче становилось. Странно пахло — тоскливый, чуждый разливался аромат. Он становился все душистее и все томнее. От этого запаха слегка кружилась голова и сердце сладко и больно замирало.

Как долго идти! Все медленнее движутся ноги. Каменный так жесток пол!

— Как трудно идти, — шептала Елисавета, — как жестко!

— Какие жесткие плиты, — жаловалась Елена, — моим ногам холодно.

Так долго шли! С таким усилием влеклись в душном, сыром подземелье! И, казалось, что целый век прошел, что конца не будет, что придется все идти, идти, подземным, узким, извилистым ходом, идти неведомо куда!

Свет меркнет, в глазах туман, темнеет. И нет конца. Жестокий путь!

И вдруг окончен темный, трудный путь! Перед сестрами — открытая дверь, и в нее льется белый, слитный и торжественный свет — радость освобождения.

Сестры вошли в громадную оранжерею. Жили там странные, чудовищно-зеленые и могучие растения. Было очень влажно и душно. Стекланные стены в железном переплете пропускали много света. Свет казался слишком ярким, беспощадно ярким — так все металось в глаза!

Елена посмотрела на свое платье. Оно казалось ей серым, изношенным. Но яркий свет отвлек ее взоры. Она засмотрелась и забыла о своем. Стекланное, зеленовато-голубое небо оранжереи искрилось и горело. Лютый Змий радовался стеклянному плену земных воздыханий. Он бешено целовал свои любимые, ядовитые травы.

— Здесь еще страшнее, чем в подземелье, — сказала Елисавета, — выйдем отсюда поскорее.

— Нет, здесь хорошо, — со счастливою улыбкою сказала Елена, лю-

буясь алыми и багряными цветами, распустившимися в круглом бассейне.

Но Елисавета быстро шла к выходу в сад. Елена догонила ее и ворчала:

— Куда бежишь? Здесь скамеечки есть, посидеть можно.

Елисавета и Елена вышли в сад. Триродов встретил их на дорожке у оранжереи. Он сказал просто и решительно:

— Вас интересует этот дом и его хозяин. Вот — я, и, если хотите, я покажу вам часть моих владений.

Елена покраснела. Елисавета спокойно наклонила голову и сказала:

— Да, мы — любопытные девушки. Этот дом принадлежал нашему родственнику. Но он стоял заброшенный. Говорят, здесь много перемен.

— Да, много перемен, — тихо сказал Триродов. — Но главное осталось, как было.

— Всех удивляет, — продолжала Елисавета, — что вы решились здесь поселиться. Вас не остановила репутация этого дома.

Триродов повел сестер, показывая им сад и дом. Разговор шел легко и свободно. Первое смущение сестер скоро прошло. Им легко было с Триродовым. Дружески спокойный тон Триродова сломал неловкость в думах сестер. Они шли, смотрели. А вокруг них, близкая, но далекая, таилась иная жизнь. Иногда слышалась музыка — меланхолическое рокотание струн, тихие жалобы флейты. Иногда чей-то свирельный голос заводил нежную и тихую песню.

На одной лужайке, в густой тени старых деревьев, закрытые от грубого пламенного Змия отрадною тьмою листвы, в тихом хороводе кружились мальчики и девочки в белых одеждах. Сестры подошли, — дети разбежались. Так тихо убежали, едва колыхнули, задевши, ветки, исчезли, — и точно их и не было.

Сестры шли, слушали Триродова и любовались садом — его деревьями, лужайками, прудами, островками, тихо журчащими фонтанами, живописными беседками, многоцветною радостью цветущих куртин. Сестры чувствовали странную, томную усталость. Но им было весело и радостно, что они попали в этот замкнутый дом, — как-то по-школьнически весело, что вошли сюда с нарушением общепринятых правил хорошего общества.

Когда вошли в одну комнату в доме, Елена воскликнула:

— Какая странная комната!

— Магическая, — с улыбкою сказал Триродов.

Странная комната, — все в ней было неправильно: потолок покатый, пол вогнутый, углы круглые, на стенах непонятные картины и неизвестные начертания. В одном углу большой, темный, плоский предмет в резной раме черного дерева.

— Зеркало, в которое интересно смотреть, — сказал Триродов. — Только надо зайти туда, в треугольник, к стене, — к углу.

Сестры зашли, глянули в зеркало, — в зеркале отразились два старые морщинистые лица. Елена закричала от страха. Елисавета побледнела, обернулась к сестре и улыбнулась.

— Не бойся, — сказала она. — Это какой-то фокус.

Елена посмотрела на нее и в ужасе закричала:

— Ты совсем старая стала! Волосы седые. Какой ужас!

Она бросилась из-за зеркала, крича в страхе:

— Что это такое? Что это?

Елисавета вышла за нею. Она не понимала случившегося, волновалась, старалась скрыть свое смущение. Триродов смотрел на них просто и спокойно. Он открыл шкаф, вделанный в стену.

— Успокойтесь, — сказал он Елене, — выпейте этой воды, которую я вам дам.

Он подал ей стакан с бесцветною, как вода, жидкостью. Елена поспешно выпила кисло-сладкую воду, и вдруг ей стало весело. Выпила и Елисавета. Елена бросилась к зеркалу.

— Я опять молодая! — закричала она звонко.

Выбежала, обняла Елисавету, говорила весело:

— И ты, Елисавета, помолодела.

Буйная веселость охватила обеих сестер. Они схватились за руки и принялись плясать, кружась по комнате. И вдруг им стало стыдно. Они остановились, не знали, куда глядеть, и засмеялись смущенно. Елисавета сказала:

— Какие мы глупые! Вам смешно глядеть на нас, да?

Триродов ласково улыбнулся.

— Такое свойство этого места, — сказал он. — Ужас и восторг живут здесь вместе.

Много интересных вещей сестры видели в доме — предметы искусства и культа, — вещи, говорящие о далеких странах и о веках седой древности, — гравюры странного и волнующего характера, — многоцветные камни, бирюза, жемчуг, — кумиры, безобразные, смешные и ужасные, — изображения Божественного Отрока, — как многие его рисовали, но только одно лицо поразило Елисавету...

Елену забавляли вещи, похожие на игрушки. Много есть вещей, которыми можно играть, смешивая магиею отражений времена и пространства.

Так много видели сестры, — казалось, прошел целый век. Но на самом деле сестры пробыли здесь только два часа. Мы не умеем измерять времен. Иной час — век, иной час — миг, а мы уравнивали.

— Как, только два часа! — сказала Елена. — Да это страшно много. Пора домой, к обеду.

— А нельзя опоздать? — спросил Триродов.

— Как можно! — воскликнула Елена.

Елисавета объяснила:

— Час обеда у нас строго соблюдается.

— Вас довезут, — сказал Триродов.

Сестры поблагодарили. Но надо было уходить. Они сразу почувствовали усталость и печаль, простились с Триродовым и молча пошли. Мальчик в белой одежде шел перед ними в саду и показывал дорогу.

Опять вошли сестры в тот же подземный ход, увидели мягкое ложе и вдруг почувствовали такую слабость, что шагу не сделать.

— Сядем, — сказала Елена.

— Да, — ответила Елисавета, — я тоже устала. Как странно! Какое утомление!

Сестры сели. Елисавета говорила тихо:

— Здесь неживой падает на нас свет из неизвестного источника, и он страшен, — но теперь мне еще страшнее грозный лик чудовища, горящего и не сгорающего над нами.

— Милое солнце, — тихо сказала Елена.

— Оно погаснет, — говорила Елисавета, оно погаснет, несправедное светило, и в глубине земных переходов люди, освобожденные от опаляющего Змия и от убивающего холода, вознесут новую, мудрую жизнь.

Елена шептала:

— Когда земля застынет, люди умрут.

— Земля не умрет, — так же тихо ответила Елисавета.

Сестры заснули. Они спали недолго, но когда проснулись, обе вдруг, все, что было сейчас, казалось им сном. Они заторопились.

— Давно пора возвращаться, — озабоченно говорила Елена.

Они побежали. Дверь из подземного хода была открыта. У выхода на дороге стоял шарабан. Кирша сидел и держал вожжи. Сестры уселись. Елисавета стала править. Кирша короткими словами говорил дорогу. Говорили мало, — слово, два скажут и молчат.

У своей усадьбы сестры вышли из экипажа. Их обнимало полусонное настроение. Не успели и поблагодарить, — так быстро уехал Кирша. Только пыль влеклась по дороге, и слышался стук копыт да шуршанье колес по щебню.

Глава четвертая

Сестры едва успели переодеться к обеду. Усталые и рассеянные, вышли они в столовую. Там уже их ждали — отец, землевладелец Рамеев, и Матовы, студент Петр Дмитриевич и гимназист Миша, сыновья двоюродного брата Рамеева, ныне умершего, которому принадлежала прежде усадьба Триродова.

Сестры мало говорили. Промолчали и о том, где были сегодня и что видели. А прежде они бывали откровенные и любили поговорить, рассказать.

Петр Матов, высокий, худощавый, бледный юноша с горящими глазами, с видом человека, собирающегося поступить в пророческую школу, казался озабоченным и раздраженным. Его нервность почему-то отражалась, — неуверенными улыбками и неловкими движениями, — на Мише. Это был мальчик упитанный, с розовыми щеками, быстроглазый, веселый, но, очевидно, слишком впечатлительный. Теперь беспричинная, по видимому, в краях его улыбающегося рта трепетала легкая дрожь.

Рамеев, невысокий, плотный старик со спокойными манерами хорошо воспитанного и уравновешенного человека, не давая заметить, что ждал дочерей, неторопливо занял свое место за обеденным столом, сдвинутым теперь и казавшимся маленьким посреди просторной столовой из темного резного дуба. Мисс Гаррисон невозмутимо приня-

лась разливать суп, — полная, спокойная, с седеющими волосами дама, олицетворение благополучного, хозяйственного дома.

Рамеев заметил, что дочери устали. Смутное опасение поднялось в нем. Но он быстро погасил в себе легкое пламя неудовольствия, ласково улыбнулся дочерям и тихо, словно осторожно намекая на что-то, сказал:

— Далеконько вы, мои милые, заходите.

И после молчания, недолгого, но неловкого, смягчая тайный смысл своих слов и разрешая легкое замешательство девиц, прибавил:

— Я замечаю, что вы несколько забросили езду верхом.

Потом обратился к старшему из братьев:

— Ну, что нового в городе слышно, Петя?

Сестрам было неловко. Они постарались принять участие в разговоре.

Это было в те дни, когда кровавый бес убийства носился над нашею родиною и страшные дела его бросали раздор и вражду в недра мирных семейств. Молодежь в этом доме, как, и везде, часто говорила и спорила о том, что свершалось, о том, чему еще надлежало быть. Спорили, были несогласны. Дружба с детства и хорошее воспитание рядили в мягкие формы идейные противоречия. Но случалось, что спор доходил до резкостей.

Отвечая Рамееву, Петр стал рассказывать о рабочих волнениях, о подготовившихся забастовках. Раздражение слышалось в его словах. Он был один из тех, кто волновался вопросами религиозно-философского сознания. Он думал, что мистическая жизнь человеческих единений должна быть завершена в блистательных и увлекающих формах цезаропапизма. Он думал, что любил свободу, — Христову, — но бурные движения пробуждающегося были ему ненавистны. Обольстил его царящий, огненный Змий, свирепый и мстительный Адонаи, — обольстил его соблазнами торжествующей гармонии, золотую свирелью Аполлона.

— Новости ужасные, — говорил Петр, — готовится общая забастовка. Говорят, что завтра все заводы в городе останутся.

Миша неожиданно засмеялся, совсем по-детски, весело и звонко, и вскрикнул с восторгом:

— Если бы вы видели, какая физиономия бывает у директора во всех таких случаях!

Голос у него был нежный и звенящий и так звучал кротко и ласково, точно он рассказывал о блаженном и невинном, об ангельской непорочной игре у порога райских обитателей. Слова *з а б а с т о в к а*, *о б с т р у к ц и я* звучали в его устах, как названия редких и сладких лакомств. Ему стало весело и вдруг захотелось сошкосьничать. Он звонко затянул было: «Вставай, поднимайся...»

Но сконфузился, оборвался, замолчал, покраснел. Сестры засмеялись. Петр смотрел угрюмо. Рамеев ласково улыбнулся. Мисс Гаррисон, делая вид, что не замечает беспорядочной выходки, спокойно взялась за грушу электрического звонка, подвешенную к висевшей над столом люстре, — переменить блюдо.

Обед длился обычным порядком. Спор разгорался и беспорядочно перебрасывался с предмета на предмет. Говорят, что такова русская ма-

нера спорить. Может быть, это всемирная манера людей, когда они говорят о том, что их очень волнует. Чтобы спорить систематично, надо вы брать сначала председателя. Свободный разговор всегда мечется.

Петр пылко восклицал:

— Самодержавие пролетариата почему же лучше того, что уже есть? И что это за варварские, дикие лозунги! «Кто не с нами, тот наш враг! Кто хозяин, с места прочь, оставь наш пир!»

— О нашем пире пока еще рано говорить, — сдержанным голосом возразила Елена.

— Вы знаете ли, к чему мы стремимся, — продолжал Петр. — Надвигается пугачевщина, будет такая раскачка, какой Россия еще никогда не переживала. Дело не в том, что говорят или делают там или здесь господа, которым кажется, что они творят историю. Дело в столкновении двух классов, двух интересов, двух культур, двух миропониманий, двух моралей. Но кто хватается за венец господства? Идет Хам и грозит пожрать нашу культуру.

Елисавета сказала укоризненно:

— Что за слово — хам!

Петр усмехнулся нервно и досадливо и спросил:

— Не нравится?

— Не нравится, — спокойно сказала Елисавета.

С привычным подчинением мыслям и настроениям старшей сестры Елена сказала:

— Грубое слово. Осадок бессильного крепостничества в нем.

— Однако нынче это слово — довольно литературное, — с неопределенною улыбкою сказал Петр. — Да и как ни назвать, дело не в слове. Мы воочию на бесчисленных примерах видим, что идет духовный босяк, который ко всему свирепо-равнодушен, который неисправимо дик, озлоблен и пьян на несколько поколений вперед. И он все повалит — науку, искусство, все. Вот типичный хам — этот ваш Щемилов, которому ты, Елисавета, так симпатизируешь. Фамильярный молодчик, благообразный Смердяков.

Петр пристально смотрел на Елисавету. Она сказала спокойно:

— Я нахожу, что ты к нему несправедлив. Он — хороший.

Обед кончился. Рады были. Разговор раздражал. Даже невозмутимая мисс Гаррисон несколько поспешнее всегдашнего поднялась с места. Рамеев, как всегда, ушел к себе, — на час заснуть. Молодые люди пошли в сад. Миша и Елена побежали вниз, к реке. Так захотелось беззаботно бежать друг за другом и смеяться.

— Елисавета! — позвал Петр.

Голос его нервно дрогнул. Елисавета остановилась. Старая липа быстро бросила на нее густую тень. Елисавета вопросительно поглядела на Петра, положила руки на грудь, — вдруг от чего-то забилось сердце, — и, обнаженные, так стройны были руки. Прекрасные руки — обаяние власти, — о, если бы внезапный порыв страсти кинул их на его плечи!

— Могу я сказать тебе, Елисавета, несколько слов? — спросил Петр.

Елисавета слегка покраснела, склонила голову и тихо сказала:

— Сядем где-нибудь.

Она пошла по дороге к беседке над обрывом. Петр молча шел за нею. Они молча поднялись по отлогим ступеням. Елисавета села и уронила руки на низкую ограду открытой беседки. Холмистые дали широко панорамную легли перед нею — вид с детства знакомый и неизменно соединенный с привычным, сладостным волнением. И уже не всматривалась она в отдельные предметы, — как музыка, разливалась перед нею природа в неистощимости переливных красок и успокоенных звуков. Петр стоял перед нею и смотрел на ее прекрасное лицо. Склоняющийся Змий лобзал озаренное лицо Елисаветы, — пронизанная светом, ликовала расцветаящая плоть.

Они молчали. Обоим было томительно неловко. Петр нервно поламывал ветки берез, растущих около беседки. Елисавета спросила:

— Что ты хочешь мне сказать?

Холодная отчужденность, почти враждебность, послышалась в звуке ее голоса. Так сказала внутренняя тревога. Она почувствовала это и улыбнулась ласково и робко.

— Что сказать! — тихо и нерешительно начал Петр. — То же, что и всегда. Елисавета, я люблю тебя!

Елисавета покраснела. Глаза ее сверкнули и потухли. Она встала и заговорила, волнуясь:

— Петр, зачем ты опять напрасно мучишь себя и меня? Мы так с тобою близки с детства, — но мы так расходимся! У нас разные дороги, мы по-иному думаем, иному веруем.

Петр слушал ее с выражением страстного нетерпения и досады. Елисавета хотела продолжать, но он заговорил:

— Ах, к чему это... эти слова! Елисавета, забудь в эту минуту о наших разногласиях. Они так ничтожны! Или нет, пусть они значительны. Но я хочу сказать, что политика и это все, что нас разделяет, это все только легкая накипь, мгновенная пена на широком просторе нашей жизни. В любви — вечная правда, в сладостной влюбленности — откровение вечной правды. Кто не живет в любви, кто не стремится к единению с любимым, тот мертв.

— Я люблю народ, свободу, — тихо сказала Елисавета, — моя влюбленность — восстание.

Петр, не слушая ее, продолжал:

— Ты знаешь, что я люблю тебя. Я люблю тебя давно. Вся душа моя, как светом, пронизана любовью к тебе. Я ревную тебя, — и не стыжусь сказать тебе об этом, — я ревную тебя ко всем, к этому блузнику, с которым ты злоумышляла бы, если бы у него хватило ума и смелости быть заговорщиком, — к этим полу-мыслям, которыми ты обольстилась, чтобы не любить меня.

И опять тихо сказала Елисавета:

— Ты укоряешь меня за то, что мне дорого, упрекаешь меня за лучшую меня, хочешь, чтобы я стала иною. Ты не меня любишь, — тебя соблазняет прекрасный Зверь, мое молодое тело с улыбками и с ласками...

И опять, не дослушав ее, страстно заговорил Петр:

— Елисавета, милая, полюби меня! Ты никого еще, конечно, не любишь. Нет, не любишь? Ты не успела влюбить себя, сковать свою душу.

Ты свободна, как первая невеста человека, ты прекрасна, как его последняя жена. Ты созрела для любви, — для моей любви, — ты жаждешь поцелуев и объятий, ты дрожишь от страсти, как я, — о, Елисавета, полюби, полюби меня!

— Как я могу? — сказала Елисавета.

— Елисавета, любовь — заповедь! — воскликнул Петр. — Надо хотеть полюбить. Только пойми, как я тебя люблю, — и уже ты меня полюбишь. Моя любовь должна зажечь в тебе ответную любовь.

— Друг мой, ты не любишь ничего из того, что мое, — возразила Елисавета, — ты не любишь меня. Я не верю, — прости, — не понимаю твоей любви.

Петр мрачно нахмурился и угрюмо сказал:

— Ты оболещена лживым, пустым словом — свобода. Над смыслом его ты никогда не думала.

— Я мало еще о чем успела думать, — спокойно возразила Елисавета. — Но чувство свободы мне ближе всего. Я не сумею передать его тебе словами, — я знаю, что на земле мы скованы железными узами необходимости и причин, — но стихия моей души — свобода, — пламенная стихия, и в ее огне сгорают цепи земных зависимостей. Я знаю, что мы, люди, на земле всегда будем слабы, бедны, одиноки, — но когда мы пройдем через очищающее пламя великого костра, нам откроется новая земля и новое небо, — и в великом и свободном единении мы утвердим нашу последнюю свободу. Все это я говорю сбивчиво, плохо, — я не умею сказать ясно того, что знаю, — но оставим, пожалуйста, оставим этот разговор.

Елисавета поспешно вышла из беседки. Петр медленно пошел за нею. Лицо его было печально, и глаза его ярко горели, — но слова не рождались, — бессильная поникла мысль. Вдруг он встрепенулся, поднял голову, улыбнулся, догнал Елисавету.

— Ты любишь меня, Елисавета, — сказал он уверенно и радостно, — ты любишь меня, хотя и не хочешь сказать этого. Ты говоришь неправду, когда уверяешь, что не понимаешь моей любви. Ты знаешь мою любовь, ты веришь в нее, — скажи, разве можно поверить в то, что тебя любят, и не полюбить?

Елисавета остановилась. Глаза ее зажглись странною радостью.

— Еще раз говорю, — сказала она спокойно и решительно, — ты любишь не меня, — ты любишь Первую Невесту. А я ухожу от тебя.

Петр стоял, бессильный, бледный, тусклый, и смотрел за нею. Между кустами колыхалось солнечно-желтое платье на матовом небе догоравшей зари. Елисавета уходила от узко пылающих огней старозаветной жизни к великим прельщениям и соблазнам, к буйному дерзновению возникающего.

Глава пятая

Петр и Елисавета сошли вниз к реке, туда, где была пристань для лодок. Две лодки казались покачивающимися на воде, хотя было совсем тихо и вода стояла гладкая и зеркальная. Поодаль, за кустами, виднелся парусиновый верх купальни. Елена, Миша и мисс Гаррисон были уже здесь. Они сидели на скамейке, на площадке в полугоре, где дорож-

ка к пристани переламывалась. Открывался с этого места успокоенный вид на излучину тихой реки. Вечерела, тяжелела вода, тусклым свинцом наливалась.

Миша и Елена набегались, раскраснелись, никак не могли погасить резвых улыбок. Англичанка спокойно смотрела на реку, и ничто не шокировало ее в вечереющей природе и в успокоенной воде. Но вот пришли двое, внесли свое напряженное волнение, свою неловкость, свою смуту, — и опять завязался нескончаемый спор.

Встали с этой скамейки, где так далеко было видно и откуда все видимое являлось спокойным и мирным. Перешли вниз, к самому берегу. А вода все-таки была тихая и гладкая. И взволнованные слова неспокойных людей не колыхали ее широкой пелены. Миша выбирал плоские каменные плитки и бросал их вдаль, чтобы они, касаясь воды, отскакивали. Делал это по привычке. Спор волновал его. Руки его дрожали, камешки плохо рикошетировали, — досадно было, но он старался скрыть досаду, пытался казаться веселым.

Елисавета сказала:

— Миша, кто лучше бросит, — давай на пятачок.

Стали играть. Миша проигрывал.

Из-за изгиба берега, от города, показалась лодка. Петр всмотрелся и сказал досадливо:

— Господин Щемилов опять припожаловал, наш сознательный рабочий, российский социал-демократ.

Елисавета улыбалась. Спросила с ласковым укором:

— За что ты его так не любишь?

— Нет, ты мне скажи, — воскликнул Петр, — почему эта партия — российская, а не русская? Зачем такая высокопарность?

Елисавета спокойно ответила:

— Российская, конечно, а не только русская, потому что в нее может войти не только русский, но и латыш, и армянин, и еврей, и всякий гражданин России. Мне кажется, это очень понятно.

— А мне непонятно, — упрямо сказал Петр. — Я вижу в этом только балаган, совсем ненужный.

Меж тем лодка приблизилась. В ней сидели двое. На веслах — Алексей Макарович Щемилов, молодой рабочий, слесарь, в синей блузе и мягкой серой шляпе, невысокий, худощавый, с ироническим складом губ. Елисавета была знакома со Щемиловым с прошлой осени. Тогда же она сошлась и с некоторыми другими рабочими и партийными деятелями.

Щемилов причалил к пристани и ловко выпрыгнул из лодки. Петр сказал насмешливо, кланяясь с преувеличенной любезностью:

— Пролетарию всех стран мое почтение.

Щемилов спокойно ответил:

— Господину студенту низжайшее.

Он поздоровался со всеми и сказал, обращаясь преимущественно к Елисавете:

— Вашу собственность вам прикатил. Едва ее у меня не сперли. Наши слободские о священном праве собственности имеют свои особые понятия.

Петр закипал досадою. Самый вид молодого блузника раздражал его, слова и повадки Щемилова казались Петру нахальными. Петр ска- зал резко:

— По вашим понятиям, насколько я понимаю, священны не права, а грубое завладение.

Щемилов свистнул и сказал:

— Таково, батенька, и есть происхождение всякой собственности, — грубо завладел, да и баста. Блаженны обладающие, — поговорочка, сло- женная грубо завладевшими.

— Это вы откуда же нахватались? — насмешливо спросил Петр.

— Крупицы мудрости падают и к нам от стола богатых, — в тон ему ответил Щемилов, — ими мы по малости и питаемся.

В лодке оставался еще один молодой человек, тоже, по-видимому, рабочий. Это был робкий на вид, худой, молчаливый юноша с горящи- ми глазами. Он сидел, держался за тесемки руля и опасно поглядывал на берег. Щемилов глянул на него насмешливо и любовно и позвал его:

— Ползи сюда, Кирилл, не бойся, — здесь все народ собрался весь- ма благодушный и до нашего брата очень охочий.

Петр сердито промычал что-то. Миша улыбался. Он ждал нового человека, хотя и боялся немирных споров. Кирилл неловко вылез из лодки, неловко стал на песке, понутив голову и расставив ноги, и, что- бы скрыть мучившее его ощущение неловкости, стал улыбаться. Петру было досадно. Он сказал, стараясь говорить любезно:

— Сядьте, пожалуйста.

Кирилл ответил искусственным басом:

— Сижен достаточно.

Продолжая улыбаться, сел, однако, на край скамьи и чуть не упал, — растопырил руки, мазнул Елисавету, рассердился на себя, по- краснел, сел подальше от края и сказал:

— Сидел два месяца, административно.

И всем были понятны эти странные слова. Петр спросил:

— За что же?

Кирилл поежился. Сказал неловко и угрюмо:

— У нас на этот счет просто, — чуть что, сейчас самые смертонос- ные меры.

Тем временем Щемилов тихо сказал Елисавете:

— Славный паренек. С вами, товарищ, хочет познакомиться.

Елисавета молча наклонила голову, улыбнулась приветливо Кирил- лу и пожала ему руку. Он расцвел.

Пришел Рамеев. Он поздоровался с гостями любезно и холодно. Бы- ло впечатление нарочной корректности, может быть, и ненужной. Раз- говор продолжался несколько неловко. Синие глаза Елисаветы нежно и задумчиво смотрели на раздраженного Петра и на холодно-враждеб- ного ему Щемилова.

Петр спросил:

— Господин Щемилов, не пожелаете ли вы объяснить мне, почему идет речь о самодержавии пролетариата? Что же, вы, значит, признаете

самодержавие, только хотите его перенести в другой центр? В чем же здесь шаг вперед?

Щемилов просто и спокойно ответил:

— Вы, господа собственники, нам ничего не хотите дать, ни золотника власти и обладания, ну, так что же нам делать.

— А ваши ближайшие цели? — спокойно спросил Рамеев.

— Ближайшие иль дальнейшие, что там! — ответил Щемилов. — У нас цель одна: обобществление орудий производства.

— А земля? — звенящим выкриком спросил Петр.

— И землю рассматриваем, как орудие производства, — сказал Щемилов.

— Вы воображаете, что земли бесконечно много в России? — со злобной насмешливостью спросил Петр.

— Не бесконечно, ну, а, все ж таки на теперешнее население хватит, да и с избытком, — спокойно возразил Щемилов.

— По десяти, по сто десятин на душу? — издаваемым голосом выкрикивал Петр. — Так, что ли? Втолковали это мужикам, они и волнуются.

Щемилов опять посвистал и сказал с презрительным спокойствием:

— Ерунда, почтеннейший, — мужик не столь глуп. А впрочем, позвольте спросить, что мешало противной стороне втолковывать мужику правильные мысли?

Петр сердито встал и быстро ушел, никому не сказав ни слова. Рамеев спокойно посмотрел вслед ему и сказал Щемилову:

— Петр слишком любит культуру, или, точнее, цивилизацию, чтобы ценить свободу. Вы слишком настаиваете на вашем классовом интересе, и потому свобода вас не так манит. Но мы, русские конституционалисты, на себе вынесем борьбу за свободу.

Щемилов слушал его, стараясь сдержать ироническую усмешку. Он сказал:

— Да, мы с вами не сойдемся. Вам надо моцион на вольном воздухе делать, а нам еще жрать хочется, — не сыты.

Рамеев помолчал и тихо сказал:

— Меня ужасает это одичание. Убийства, убийства без конца.

— Что делать! — усмехаясь, отвечал Щемилов. — Вам небось хотелось бы карманной, складной свободы для домашнего употребления.

Рамеев, с нескрываемым желанием прекратить разговор, встал, улыбаясь, протянул руку Щемилову и сказал:

— Должен вас оставить.

Миша пошел было за ним, потом раздумал, побежал к реке, около купальни достал свою удочку и влез в воду по колена. Давно уже он привык убежать к речке, когда печали или радости волновали его или когда надобно было хорошенько подумать о чем-нибудь. Он был мальчик застенчивый и самолюбивый и любил быть один со своими мыслями и мечтами. Холод воды, струящейся около ног, успокаивал его и отгонял всю злость.

Здесь, в воде, стоя с голыми ногами, он становился кротким и спокойным.

Скоро сюда же пришла и Елена. Она стояла на берегу и молча смотрела на воду. Почему-то ей было грустно и хотелось плакать.

Вода в реке тихо и успокоенно плескалась. Гладкая была вся поверхность, — так и шла.

Елисавета с легким неудовольствием глянула на Щемилова.

— Зачем вы так резки, Алексей? — сказала она.

— А вам не нравится, товарищ? — ответил вопросом Щемилов.

— Нет, не нравится, — решительно и просто сказала Елисавета.

Щемилов помолчал, призадумался, сказал:

— Слишком широкая бездна между нами и вашим братом. И даже между нами и вашим отцом. Трудно сговориться. Их интерес, — вы же это хорошо понимаете, — лепить пирамиду из людей; наш интерес — пирамиду эту самую по земле ровным слоем рассыпать. Так-то, товарищ Елизавета.

Елисавета досадливо поправила:

— Е л и с а в е т а. Сколько уж раз я вам говорила.

Щемилов усмехнулся:

— Барские затеи, товарищ Елисавета. А впрочем, в этом ваша воля, — хоть и трудненько выговаривать. По-нашему — Лизавета.

Кирилл жаловался на свои неудачи, на полицейских, на сыщиков, на патриотов. Нудные были жалобы, серые, скучные. Был арестован, лишился работы. Видно, намучился. Голодный блеск дрожал в глазах. Кирилл жаловался:

— От полиции пришлось-таки мне потерпеть. Да и свои...

Помолчал угрюмо и продолжал:

— У нас на заводе на каждом шагу обращение самое унижительное. Одни обыски чего стоят.

Опять помолчал. Опять жаловался:

— В душу залезают. Частный разговор... Ни перед чем не останавливаются.

Он говорил про голодовку, про больную старуху. Все это было очень трогательно, но от частого повторения казалось истертым, и жалость была словно вытоптана, а сам Кирилл казался материалом, тем человеком толпы, настроение которого должно быть использовано в интересах политического момента.

Щемилов сказал:

— Черносотенцы организуются. Очень этим господин Жербенев занят, — наш истинно русский человек.

— И Кербах с ним, тоже патриот, — сказал Кирилл.

— Самый вредный человек в нашем городе — Жербенев. Вот гадина опасная, — презрительно сказал Щемилов.

— Я ею убью, — пылко сказал Кирилл.

Елисавета сказала:

— Чтобы убить человека, надо верить, что один человек существенно лучше или хуже другого, отличается от него не случайно, не социалью, а мистически. То есть убийство утверждает неравенство.

Щемилов сказал:

— Мы к вам, Елисавета, отчасти и по делу.

— Говорите, какое дело, — спокойно сказала Елисавета.

— На днях придут из Рубани товарищи, поговорить, и все такое, — говорил Щемилов. — Да это вы уже знаете.

— Знаю, — сказала Елисавета.

Щемилов продолжал:

— По этому самому случаю хотим устроить здесь неподалечку масовку для городского фабричного люда. Так вот, надо вам, Елисавета, выступить наконец в качестве оратора.

— Чем же я могу быть полезна? — спросила Елисавета.

— Вы, Елисавета, хорошо излагаете, — говорил Щемилов. — У вас голос подходящий и речь льется без запинки, и вы умеете говорить очень просто и понятно. Вам не говорить на собраниях — грех.

— Вы извините, товарищ Елисавета, — сказал Щемилов, — Кирилл, может быть, и не знает, что ваш отец — кадет. Притом же он по простоте.

Кирилл покраснел.

— Я мало знаю, — застенчиво сказала Елисавета. — И как и что я стану говорить?

— Достаточно знаете, — уверенно сказал Щемилов. — Больше нас с Кириллом. Вы правильная, Елисавета. Все у вас точно и чисто выходит.

— Что же я скажу? — спросила Елисавета.

— Изобразите общую картину положения рабочих, — говорил Щемилов, — и как сам капитал на себя кует молот, заставляя рабочих сорганизоваться.

Елисавета, краснея, молча наклонила голову.

— Ну, значит, по рукам, товарищ? — спросил Щемилов.

Елисавета засмеялась.

— По рукам, товарищ! — весело сказала она.

Было весело слышать это серьезно и простодушно произносимое слово «товарищ».

Глава шестая

Ночь пришла, — милая, тихая. Чары навеяла, скучный шум жизни обвила легким дымом забвения. Луна тихо встала на небе, ясная, спокойная, словно больная, но такая светлая, — и вся замкнутая в своем сиянии, для себя светлая. Она глядела на землю и не рассеивала тумана, — точно себе одной взяла всю ясность и всю прозрачность догоревшей зари. Тишина разлилась по земле, по воде, обняла каждое дерево, каждый куст, каждую в поле былинку.

Успокоенное настроение овладело Елисаветою. Ей стало так странно, что спорили и стояли друг против друга, как враги. Отчего не любить? не отдаваться? не покоряться чужим желаниям? его желаниям? моим желаниям? Зачем шум споров и яркие слова о борьбе, об интересах? Яркие слова, но такие далекие.

Все в доме, казалось, были утомлены — зноим? спором? тайною грустью, клонящую ко сну? к успокоению? Сестры ушли спать несколько раньше обычного. Усталость клонила их и томная печаль. Спальни

сестер были рядом. Между их спальнями была всегда открытая широкая дверь. Они слышали одна другую, — и ровное дыхание спящей сестры делало живым мир страшной ночи и сна.

Елисавета и Елена не долго разговаривали. Разошлись скоро. Елисавета разделась, подошла к зеркалу, зажгла свечу и залюбовалась собою в холодном, мертвом, равнодушном стекле. Были жемчужны лунные отсветы на линиях ее стройного тела. Трепетны были белые, девственные груди, увенчанные двумя рубинами. Такое плотское, страстное тело пламенело и трепетало, странно белое в успокоенных светах неживой луны. Слегка изогнутые линии живота и ног были отчетливы и тонки. Кожа, натянутая на коленях, намекала на таящуюся под нею упругую энергию. И так упруги и энергичны были изгибы голеней и стоп.

Елисавета пламенела всем телом, словно огонь пронизал всю сладкую, всю чувствующую плоть, и хотела, хотела прикинуть, прильнуть, обнять. Если бы он пришел! Только днем говорит он ей мертво звенящие слова любви, разжигаемый поцелуями крошечного Змия. О, если бы он пришел ночью к тайно пламенеющему, великому Огню расцветающей Плоти!

Любит ли он? Любовию ли он любит, последнею и единою, побеждающе вечным дыханием небесной Афродиты? Где любовь, там и великое должно быть дерзновение. Разве любовь — сладкая, кроткая и послушная? Разве она не пламенная? Роковая, она берет, когда захочет, и не ждет.

Мечты кипели, — такие нетерпеливые, жадные мечты. Если бы он пришел, — он был бы юный бог. Но он только человек, поникший перед своим кумиром, — маленький раб мелкого демона. Он не пришел, не посмел, не догадался, — темною обвеял досадою сладкое кипение Елисаветиной страсти.

Глядя на свое дивное в зеркале изображение, насмешливо думала Елисавета:

— Может быть, он молится. Слабые и надменные, — как они молятся? Им надо поучать и восторгаться, — переделать религию, и быть первыми в новой секте.

Елисавете не хотелось спать. Желание томило ее, — она не знала, чего хотела, — идти? ждать? Она вышла на балкон. Ночная прикинула свежест к ее нагому телу. Она долго стояла, — и такие теплые были и влажные доски балкона под голыми стопами. Она смотрела в отуманенную полуясность дремлющего под луною сада. Вспоминались ей подробности сегодняшней прогулки, — и все, что видели в доме Триродова, так ярко вспоминалось, почти с живостью галлюцинации. Потом дремота подкралась, охватила. И не помнила Елисавета, как очутилась в постели. Словно принес незримый, и уложил, и убаюкал. Она заснула.

Тревожен и томен был сон, — кошмарные обстали видения. Все телеснее, все яснее становились они.

Возникла пыльная комната. Такой душный в ней воздух, так на грудь мучительно давит. По стенам шкапы с книгами. На столах — книжки, все новенькие, тоненькие, в ярких обложках. Заглавия почему-то страшные

и тяжелые. Пришел студент, длинный, тощий, длинноволосый, все волосы совсем прямые, лицо угрюмое, серое, на глазах очки. Он шепнул:

— Спрячьте.

И положил на стол связку книжек и брошюр. Кто-то сзади Елисаветы протянул руку, взял книжки и сунул их под стол. Потом пришла курсистка, странно похожая на студента, но совсем иная, коротенькая, толстая, краснощекая, стриженная, веселая, в пенсне. Она принесла связку книг и говорит тихо:

— Спрячьте.

Елисавета прячет книги в шкаф, — и боится чего-то.

Приходили студенты, рабочие, барышни, гимназисты, юнкера, чиновники, приказчики — и каждый положит на стол пачку книг, шепнет:

— Спрячьте!

И скрывается. И прячет Елисавета — в ящик стола, в шкапы, под столы, под диваны, за двери, в печку. А книги на столе все растут, — и все неотвязнее шепот:

— Спрячьте.

И некуда прятать, — а все несут, несут, несут. Книги везде, книги давят...

С чувством тоскливой тяжести в груди Елисавета проснулась. Чье-то лицо наклонилось над нею. Покрывало соскользнуло с ее прекрасного тела. Елена шептала что-то. Сонным голосом Елисавета спросила:

— Я тебя разбудила?

— Ты так вскрикнула, — сказала Елена.

— Такая глупость приснилась, — шепнула Елисавета.

Она опять заснула, — и опять тот же склад. Так много книг, — даже подоконники завалены, и свет едва проникает, тусклый и пыльный. Томит зловещая тишина. За прилавком, рядом с нею, студент и два подростка стоят странно прямо: они бледны и чего-то ждут. Вдруг дверь открылась бесшумно. Входят, стуча сапогами, рослые люди, — полицейский, другой, сыщик в золотых очках, дворник, другой, мужик, городской, мужик, дворник, — идут, идут, заполнили всю комнату и все входят, громадные, угрюмые, молчаливые. Елисавете душно, — и она просыпается.

Опять засыпала Елисавета и опять томилась кошмарными видениями, давящими грудь, и просыпалась снова.

Снится ей, что обыскивают.

— Нелегашка! — говорит сыщик, злобно смотрит на Елисавету и кладет на стол книжку.

И растет на столе гряда нелегальных книг.

Их мнут и треплют. Полицейский садится писать протокол. Перо ползет, — но бумага мала.

— Бумаги! — кричит пристав.

Исписывается лист за листом. Пристав издевается, грозит револьвером.

Проснулась, — и опять сон.

Пришел учитель-пискун, маленький, хрупкий. За ним другой, третий, без конца, — вереницы мирных людей с мятежными воплями.

Проснулась. И опять сон.

Площадь залита ярким солнцем. Мужик стоит и горланит:

— Постоим за прижим и за Русь святую.

На его крик подходит другой мужик, третий, четвертый. Медленно и неуклонно копится ревушая толпа. Из толпы выделяется мужик со значком, в белом переднике, подходит близко и, перекашивая рот, кричит неистово:

— За Расею, как Егорий повелевает! Истреблю!

Он наваливается на Елисавету и душит ее.

Проснулась.

Опять снится что-то страшное, темное. Ничего еще не видно и не понять, и только страх разливается в черной мгле. В черной мгле темные сгущаются фигуры, тьма слегка проясняется, и зловеще-серым становится воздух. Снится двор, узкий, обставленный высокими стенами с окнами за частыми решетками. Сердце внятно шепчет:

— Тюрьма. Тюремный двор.

Из узкой двери на мглистый двор холодным, ранним утром выводят арестантов. Идут гуськом — солдат, арестант, солдат, арестант, солдат — без конца, гулко идут поперек двора. В стене калитка скрипит, открывается. Все выходят. И уже Елисавета за стеною видит плоское, безграничное, тало-снежное поле и ряд виселиц на поле — бесконечный ряд уходящих вдаль виселиц на поле — бесконечный ряд виселиц. Идут, все ближе, — будут вешать.

Как случилось, не помнила, но идет в ряду и она. Перед нею — солдат, а еще впереди солдата — мальчик. Мальчик к ней спиной, но она узнала — Миша. Ужасом скован язык — кричать бы — не крикнешь. Ужасом скованы ноги — бежать бы — не двинутся. Ужасом скованы руки — отнять бы — висят бессильно.

Вешают впереди, и мимо повешенных идут арестанты к следующим виселицам. Вешают Мишу. Он срывается. Вешают опять — срывается. Вешают без конца — и он каждый раз срывается.

Видно чье-то свирепое лицо и седая щетина подстриженных усов. Слышен злобный крик:

— Добить!

Выстрел, — незвучный, тупой удар, — мальчик падает и мечется по земле. Опять выстрел, — мальчик мечется. Выстрелы все чаще, — а он все жив.

Елисавета проснулась, — совсем проснулась. Больно и радостно бьется сердце, — да это же — только сон! Только сон! И в сердце ее сияет ликующая радость...

По золотым стрелам еще тихого и кроткого дракона, падавшим так мягко и наклонно, было видно, что еще очень рано. Где-то далеко слышался зов рога и мычание коров. Стены спальни слабо розовели. Окна светились по-утреннему, первоначальным, прельщающим светом, — день в окнах говорил, что он сложится по-новому, по-хорошему. И была влажность, веющая в открытое окно, и раннее чирикание птиц, — и вечная радость утренней природы. Было слышно, что и Елена проснулась.

Так возник новый день, буйный и радостный. А ночные видения?

О, мы умирающие, тонущие в предутреннем тумане! Хриплым шепотом горящие наше последнее, наше страшное:

— Прощай!

Глава седьмая

Обе сестры плохо выспались. Елисавета была истомлена кошмарами, а Елена часто просыпалась и приходила к ней. Обе чувствовали сладкое и яркое головокружение разрезанного драконовыми серпами сна. В голове бежали яркие воспоминания нестройною и пестрою вереницею. Вспоминались подробности вчерашнего посещения. Еще томное одолевало обеих смущение, — точно стыд. Но сегодня сестры понемногу одолели его. Оставаясь наедине, они разговаривали о том, что видели в доме у Триродова и в его колонии. Странная нападала на сестер забывчивость, — понемногу забывалась обстановка, подробности тонули. Разговаривая об этом, они часто ошибались и поправляли одна другую. Точно сон был. Да и то, — явь или сон? И где границы? Сладкий сон, горький ли сон, — о, жизнь, быстрым видением проносящаяся!

Прошло три дня. Опять стоял тихий, ясный день, и опять небесный Дракон улыбался своею злою, безумно-ярою улыбкою. Покачиваясь, отсчитывал багровые секунды и пламенные минуты и ронял с еле слышным гулом на землю свинцово-тяжелые, но прозрачные часы. Было три часа дня, — только что миновали самые знойные, ядовито-липкие змеиные минуты. Кончился завтрак. Рамеевы и Матовы были дома. Опять был долог, нестроен и горяч спор Елисаветы с Петром, и по-прежнему безнадежен, — и разошлись, взволнованные и тоскующие, смутным беспокоеством истомив уравновешенность мисс Гаррисон.

Сестры остались одни. Они вышли на нижний балкон, сидели молча и притворялись, что читают. Они чего-то ждали. Ожиданием ускользнул поднимающий грудь стук сердец.

Елисавета уронила книгу на колени и, вдруг нарушив знойное молчание, сказала:

— Мне кажется, он сегодня к нам приедет.

Повеял ветер, дрогнули гибкие ветки, какая-то птичка загомозилась, — и казалось, что тоскующий сад обрадовался торопливо промчавшимся словам, резвым, звонким.

— Кто? — спросила Елена.

И вдруг покраснела от неискренности вопроса — знала же кто. Елисавета улыбнулась, глянула на нее и сказала:

— Триродов, конечно. Странно, что мы его ждем.

— Но он, кажется, обещал приехать, — нерешительно сказала Елена.

— Да, — отвечала Елисавета, — он что-то говорил там, у этого странного зеркала.

— Это было раньше, — возразила Елена.

— Да, и в самом деле, — сказала Елисавета. — Я все путаю. Не понимаю, как можно так скоро забыть.

— Да я и сама путаю немало, — удивляясь самой себе, говорила Елена. — Я почему-то чувствовала большую усталость.

Мягкий шум колес по песку приближался быстро и плавно. К дому по березовой аллее, медленно, останавливаясь уже, катился легкий шарбан, влекомый лошадей в английской упряжке. Сестры встали. Они

были взволнованны. Но на лицах были привычно-любезные улыбки, и руки не дрожали.

Триродов отдал вожжи Кирше. Кирша отъехал.

Первая встреча была странно-неловкою. Смущение сестер пробивалось под любезно-пустыми фразами. Прошли в гостиную. Рамеев вышел, приветствуя гостя, и оба брата Матовы. Начались взаимные приветы, — знакомство, — незначащие речи, — все, как у всех и всегда.

Петр был враждебно неловок. Он говорил отрывисто и с явною неохотою. Миша смотрел любопытными глазами. Ему Триродов понравился, — был приятен, да и раньше Миша слышал о нем нечто, обязывающее к хорошему отношению.

Разговор струился, быстрый и вежливый. О том, что сестры были у Триродова, не сказано было ни слова.

Рамеев сказал:

— Мы много о вас слышали. Рады вас видеть.

Триродов улыбался, и улыбка его казалась слегка насмешливою. Елисавета спросила:

— Вам кажется, что слова об удовольствии видеть — только фраза?

Как-то резко прозвучали эти слова. Елисавета заметила это и покраснела. Рамеев глянул на нее с удивлением. Триродов сказал:

— Нет, я этого не думаю. Есть радость встреч.

— Так по привычке говорят, принято, — тихо сказал Петр.

Триродов с улыбкою глянул на него и обратился к Рамееву:

— Говорю это совершенно искренно, — я рад, что познакомился с вами. Я живу очень уединенно и потому тем более рад счастливому случаю, — тому, что дело привело меня к вам.

— Дело? — с удивлением спросил Рамеев.

— О, только два слова, предварительно, — сказал Триродов. — Хочу расшить свое хозяйство.

С легкою печалью в звуке голоса Рамеев сказал:

— Вы купили лучшую половину Просяных Полян.

Триродов говорил:

— Она мне немного мала. Купил бы и остальное — для моей колонии.

— Это — часть Петра и Миши, — сказал Рамеев. — Не хотелось бы продавать остальное.

— Что касается меня, — сказал Петр, — я бы с удовольствием продал, пока «товарищи» не отобрали даром.

Миша молчал, но видно было, что ему противна и неприятна мысль о продаже родной земли. Казалось, что он сейчас заплачет. Рамеев сказал:

— По-моему, продавать не надо. Я бы не советовал этого делать. Мишиной части до его совершеннолетия не продам, да и тебе, Петр, не советую.

И обрадовался Миша, благодарно глянул на Рамеева. Рамеев продолжал:

— Я лучше укажу вам другой участок. Он тоже продается и будет вам, может быть, удобен.

Триродов поблагодарил.

Разговор перешел на его учебное заведение. Рамеев сказал:

— По этой школе вам приходится иметь дело с директором народных училищ. Как вы с ним ладите?

Триродов презрительно усмехнулся.

— Да никак, — сказал он.

— Тяжелый человек этот господин с дамским голосом, — сказал Рамеев. — Холодный карьерист. Он вам постарается повредить.

Триродов спокойно ответил:

— Я привык. Мы все к этому привыкли.

— Могут закрыть школу, — насмешливо и резко сказал Петр.

— Могут и не закрыть, — возразил Триродов.

— Ну, а если? — настаивал Петр.

— Будем надеяться на лучшее, — сказал Рамеев.

Елисавета ласково глянула на отца. Триродов спокойно говорил:

— Можно закрыть школу, но довольно трудно помешать людям жить на земле и вести хозяйство. Если школа станет не только школою, но и образовательным хозяйством, то она с успехом заменит крупные хозяйства землевладельцев.

— Ну, это утопия, — досадливо сказал Петр.

— Осуществим утопию, — так же спокойно возразил Триродов.

— А для начала разорим то, что есть? — спросил Петр.

— Почему? — с удивлением спросил Триродов.

Странно волнуясь, говорил Петр:

— «Товарищеский» раздел чужой земли на дармовщинку поведет к страшному падению культуры и науки.

Триродов спокойно возразил:

— Не понимаю этой боязни за науку и культуру. И та, и другая достаточно сильны, и обе за себя постоят.

— Однако, — спросил Петр, — культурные памятники разрушаются довольно охотно тем хамом, который идет нам на замену.

— Культурные памятники не у нас одних погибают, — спокойно возражал Триродов. — Конечно, это печально, и надо принять меры. Но страдания народа так велики... Цена человеческой жизни больше цены культурных памятников.

И так разговор быстро, по русской привычке, перешел на общие темы. Говорил больше Триродов, спокойно и уверенно. Его слушали с большим вниманием.

Из всех пятерых только один Петр не был увлечен гостем. Враждебное чувство к Триродову все более мучило его. Он посматривал на Триродова с подозрением и с ненавистью. Его раздражал уверенный тон Триродова, его «учительная» манера говорить. Весь разговор Петра с Триродовым был рядом колкостей и даже явных грубостей. Рамеев с плохо скрываемою досадою посматривал на Петра, но Триродов словно не замечал его выходок и был спокоен, прост и любезен. И под конец Петр принужден был смириться и оставить резкий тон. Тогда он замолчал. Сразу же после того, как Триродов простился, Петр ушел куда-то, очевидно избегая разговора о госте.

Глава восьмая

День был жаркий, душный, безветренный. Бессильно распластался он под злыми очами-стрелами свирепого Дракона. Кое-кто из горожан искал прохлады на поплавке — так называли в Скородоже буфет на пароходной пристани. На этом поплавке под полотняным навесом было не так знойно и порывами от воды веяло прохладой.

Петр и Миша были в городе — что-то покупали. Зашли на поплавок и они — выпить лимонаду. Только что пришел пароход, снизу, из большой реки, от торговых городов. Он разгружался, — выше река становилась мелка, пароходы не ходят. На поплавке стало на короткое время суетливо и шумно. За столиками сидело несколько горожан и приезжих — чиновники, помещики. Они пили вино и беседовали громко, но мирно, кричали по деревенской привычке, — и потому слышно было, что многие разговоры так или иначе касались политических тем.

За одним столом разговаривали двое, согласно, а все-таки яростно. Это были отставной прокурор Кербах и отставной полковник Жербенев, оба — крупные землевладельцы, патриоты, члены Союза русского народа. Речи обоих были громки и я пылки. Слышались странные слова: — измена, — крамола, — перевешать, — истребить, — драть.

Николай Ильич Кербах был человек маленького роста, худенький, хилый. На бритом лице длинные, обвислые усы казались демонстративно выращенными, такое было на лице неожиданно-свирепое выражение. Он, небрежно развалясь, покачивался на стуле. Его широкий вестон сидел мешком, пестрый жилет был расстегнут, галстук веревочкой мотался полуразвязанный. Вообще, вид человека, не желающего стесняться. Перед ним на стуле вертелся сын, мальчишка лет восьми, слюнявый, чернозубый, с отвислою карминно-красною нижнею губою.

Андрей Лаврентьевич Жербенев, длинный, натянутый, важный, сидел прямо и неподвижно, как будто его пригвоздили, и строго посматривал вокруг. Китель, застегнутый на все пуговицы, сидел на нем, как на бронзовом идоле.

— Во всем, скажу, родители виноваты, — все тем же свирепым голосом, как и раньше, продолжал Кербах. — Надо с детства внушать. Вот мои...

И он крикнул сыну ненужно громко, — хотя сын егозил на стуле рядом с отцом:

— Сергей!

— Сто? — откликнулся шепелявый и слюнявый мальчишка.

— Встань передо мной и отвечай, — приказал отец.

Мальчишка сполз со стула, вытянулся молодцевато перед отцом, опять спросил:

— Сто?

И оглядел быстрым и хитрым взглядом сидевших за соседними столиками.

— Что надо делать с врагами царя и отечества? — спросил его Кербах.

— Их надо истреблять! — бойко ответил мальчишка.

— А потом? — допрашивал отец.

Мальчик быстро проговорил заученные слова:

— А потом смрадные трупы подлых врагов отечества бросать в помойку. Кербях и Жербенев радостно хохотали.

— Вот уж именно, падаль поганая! — хриплым голосом сказал Жербенев.

За соседний столик сел и спросил себе бутылку пива не известный никому господин, среднего роста и средних лет, в довольно изношенном платье, дородный, вернее, обрюзглый, с маленькими, сверкающими глазами. Кербях и Жербенев осмотрели его мельком, но недружелюбно. Словно предполагая в незнакомце человека противных взглядов, они усиливали пылкость своих речей и все яростнее говорили о крамольниках, о матушке-России, называли имена здешних неблагонадежных, заговорили о Триродове.

Новый человек долго присматривался к собеседникам. Очевидно было, что имя Триродова, которое стало часто повторяться в разговоре Кербяха и Жербенева, возбудило большое внимание нового человека, даже волнение. Он уставился на собеседников так, что те заметили и переглянулись досадливо.

Наконец незнакомец вмешался в их разговор.

— Извините, — сказал он, — позвольте спросить, изволите вы упоминать господина Триродова, если я не ошибаюсь?

— Вы, милостивый государь... — начал Кербях.

Новый человек тотчас же вскочил и принялся кланяться.

— Простите великодушно мое невежливое любопытство. Я — Остров, артист, трагик. Изволили слышать?

— Первый раз, — угрюмо сказал Кербях.

— Никогда не слышал, — сказал Жербенев.

Незнакомец приятно улыбнулся, словно услышал похвалу, и, не обнаруживая ни малейшего смущения, продолжал:

— Как же-с, во многих городах играл. Проездом здесь. Еду по своим делам в Рубанскую губернию. И вот сейчас вы изволили упомянуть одну фамилию, очень мне знакомую.

Кербях и Жербенев переглянулись. Дурные мысли о Триродове опять зароились в их головах. Остров продолжал:

— Я не подозревал, что Триродов живет здесь. Он — мой давнишний и близкий знакомый. Приятели, можно сказать.

— Так-с, — строго сказал Жербенев, неодобрительно посматривая на Острова.

Что-то в тоне голоса и в манерах Острова скоро вооружило против него собеседников. Несомненно, что взор его был нахален. Во всем его поведении и в словах его было что-то раздражающее, дерзкое. Но нельзя было ни к чему придраться. Слова были корректны в достаточной мере.

— Мы уже несколько лет не встречались, — говорил Остров. — Ну, и как же он здесь живет?

— Да, господин Триродов, по-видимому, богат, — неохотно сказал Кербях.

— Богат? Очень это приятно. Богатство это самое у господина Триродова не весьма давнего происхождения. Это мне доподлинно известно. Недавнего-с происхождения, — повторил Остров, хитро подмигивая.

— И не весьма чистого? — спросил Кербх.

Он подмигнул Жербеневу. Тот крякнул и насутился. Остров острожно глянул на Кербха.

— Почему вы так полагаете? — спросил он. — Нет-с, этого я бы не сказал. Вполне чисто. Вот уж именно можно сказать, что чисто, — повторил он с особенным выражением.

Миша с любопытством смотрел на разговаривающих. Хотелось услышать что-то о Триродове. Но Петр поспешно расплатился и встал. Кербх задержал было его.

— Вот приятель вашего приятеля Триродова, — сказал он.

— Я еще не успел подружиться с Триродовым, — резко ответил Петр, — да и не собираюсь, а что до его приятелей, так у каждого бывают более или менее странные знакомства.

И ушел вместе с Мишей. Остров, ухмыляясь, посмотрел вслед за ним и сказал:

— Серьезный молодой человек.

— Их с братом земельку изволил приобрести господин Триродов, — пояснил Кербх.

Неприязнь Петра Матова к Триродову коренилась в том, по-видимому, случайном обстоятельстве, что Триродов купил дом и часть имения Просяные Поляны, которое принадлежало прежде Матову-отцу.

Многие в городе Скородже хорошо еще помнили Дмитрия Александровича Матова, отца Петра и Михаила Матовых. Он был один срок членом уездной земской управы. Второй раз его не выбрали. Он не сумел скрыть своих отношений и своих дел, — и репутация его погибла, хотя дело обошлось без скандала: времена еще были тихие. Во время своей земской службы он более часто, чем надо, бывал у губернатора.

В это же время председатель земской управы по чьему-то доносу был выслан административным порядком в Олонецкую губернию. О Матове ходили темные слухи. При вторичных выборах несколько голосов было за него подано, — но мало. Уже он не попал в земскую управу.

Денежные дела Дмитрия Александровича Матова были плохи. Он вел жизнь рассеянную, кутил, скитался по свету. Смелый, своевольный, необузданный, он жил только в свое удовольствие. Ему не раз случалось прокутиться и остаться без гроша. Вдруг неизвестно откуда опять появлялись средства, и опять он кутил, веселился, вел разгульную жизнь. Имение было заложено и перезаложено. Отношения к крестьянам установились ужасные. Чересполосица и придиричивость Матова вели к постоянным ссорам. Тянулась обычная тяжелая канитель — по траве, загон скота, поджоги, тюрьма.

Просяные Поляны постоянно переходили от периода богатства и расточительности в полосу полного безденежья и оскудения. Это было оттого, что Матов счастливо получил несколько наследств. Говорили, что не только счастье везло ему, — говорили о подделанных завещаниях, задушенных тетках, отравленных детях. Какие-то темные авантюры то обогащали, то разоряли Матова, — азартная, не всегда чистая игра, — фантастические концессии...

В дни оскудения затейливые достройки в имении не ремонтировались, скот убывал, хлеб сбывали спешно и дешево, лес за бесценок продавался на сруб, рабочие не могли добиться уплаты зажитых денег. Зато в веселые дни, после смерти какого-нибудь родственника, в имении все оживало. Являлись артели плотников, каменщиков, кровельщиков, маляров. Энергично и быстро осуществлялись фантастические затеи. Деньги тратились щедро, без расчета.

Дмитрию Александровичу Матову было уже более сорока лет, и за плечами его тяготело много темных и безумных деяний, когда он женился, неожиданно для всех и даже, кажется, для себя самого, на молодой девице с хорошим состоянием и с темным прошлым. Говорили, что она была любовницей какого-то сановника, надоела ему, но сохранила связи и приобрела капитал. Она была бы очень красива, если бы странное пятно, как будто от обжога, на левой щеке не безобразило ее. Это пятно бросалось в глаза и совершенно заслоняло все красоты ее лица.

Между супругами скоро возникла жестокая вражда, никто не знал из-за чего. Сплетничали так: он обманулся в своих ожиданиях, она узнала о его любовницах, кутежах, темных слухах про наследства. Ссоры учащались. Нередко Матов уезжал, и всегда внезапно. Однажды он забрал все ценное и скрылся, а жене оставил заложенное имение, долги и двух сыновей. Сначала доходили о нем кое-какие слухи. Говорили, что видели, его, кто в Одессе, кто в Маньчжурии. Потом и слухов о нем не было.

Пришло неожиданно известие о его гибели в дальнем южном городе. Причины смерти остались нераскрытыми. Даже тело его не было найдено. Выяснилось только, что его заманили в пустой, необитаемый дом, — и там следы его были потеряны.

Вдова Матова скоро умерла от случайной острой болезни. Сыновья остались в доме Рамеева, их опекуна.

— Агитатор и крамольник, — резко сказал Жербенев.

Остров улыбался и говорил:

— А все-таки я должен заступиться за моего приятеля. Нет ли здесь, извините, патриотической клеветы? Из самых, конечно, благородных побуждений!

— Клеветами не занимаюсь, — сухо сказал Жербенев.

— Извините. Однако не смею задерживать. Очень благодарен за любезную беседу и за интересные сведения!

Остров ушел. Кербак и Жербенев тихо говорили о нем.

— Какая у него наружность! совершенно зверский взгляд.

— Да, субъект! Не желал бы я с ним встретиться где-нибудь в лесу.

— Хороши приятели у нашего поэта и доктора химии!

Глава девятая

Елисавета и Елена опять шли по тропинке близ дороги между Просяными Полями и имением Рамеева. Радовало сестер, что все тихо вокруг и пустынно, и шумная людская жизнь казалась такою далекою от этих мест. Такою далекою, что в некий мечтательный рай претворя-

лась земная долина, и райскою рощею являлся наивно-веселый лес и бедной и грешной земли. Далекою казалась жизнь со всем ее суетливым бытом, и радостно было сестрам отрешаться от ее условностей и приличий и по мягкой идти земле, по пескам, глинам и травам обнаженными стопами, веселя сердце детскою невинною радостью простой, непорочной жизни.

Обе сестры были одеты одинаково — короткие платья с высоко поднятым поясом, с перекрещенными на груди запашными полами и с короткими у плеч рукавами.

Они шли все дальше, веселыми, влюбленными всматриваясь глазами в полузамкнутые дали долин, лесов и перелесков. Простодушная влюбленность в эту милую природу владела ими, — сладкая, нежная влюбленность! Она зачиналась в Елисавете и ждала для себя только объединяющего предмета, лика, чтобы поставить его в пересечении всех земных и небесных путей и поклониться ему.

Сладкая, нежная влюбленность! Она бродила и в Елене вешним девическим хмелем, и уже была влюблена Елена. Не в кого-нибудь, а вообще. Как влюблен воздух по весне, радостно целующий всех. Как влюблены струи потока, покорно лобзающие розовые колени отроков и дев, — струи этой маленькой речки, впадающей в Скородень и извиляющейся в зеленых берегах перед сестрами.

Мост был далек. Сестры перешли речку вброд. Так сладко плеснули холодные струйки под колени. Сестры постояли на берегу, полюбовались на ежи зеленых сползней, обросшие травой, на обточенные водою гладкие камешки на песке. Еще долго оставалось в похолодевших ногах ощущение влюбленных лобзаний.

Как влюбляются эти струйки во всякую красоту, которая в них окунется, так влюблялась Елена во все милое, что представляло ее очам.

Чаще всего ее влюбленность направлялась на Петра. Его любовь к Елисавете сладко и больно ранила Елену.

Сестры спустились в овраг около Триродовской колонии, поднялись, прошли уже знакомою тропинкою, открыли калитку, — на этот раз она легко поддавалась их рукам, — и вошли. Скоро перед ними открылось озеро. Там плавали дети и учительницы. Такая веселая была в веселой и звучной воде нагота загорелых тел, и веселы были брызги, и смех, и крики!

Дети и учительницы выходили на берег, бегали по песку нагие. Голые, загорелые, но все же на зелени белые ноги были как вырастающие из земли стволы березок.

Сестер увидели, окружили их буйною радостью нагих, влажных и прекрасных тел и закружили в неистовом хороводе. Такую чуждою и ненужною вдруг сестрам показалась сброшенная на берег одежда — эти грубые ткани, это грубое плетение! Что краше и милее тебя, милое, вечное тело!

Потом сестры узнали, что здесь чаще бывают нагими, чем в одежде!

Светло опечаленная Надежда сказала сестрам:

— Усыпить зверя и разбудить человека — вот для чего здесь наша нагота.

И смуглая, черноволосая, горящая восторгом Мария говорила:

— Мы сняли обувь с ног, и к родной приникли земле, и стали весе-

лы и просты, как люди в первом саду. И тогда мы сбросили наши одежды и к родным приникли стихиям. Обласканные ими, облеянные огнем лучей нашего прекрасного солнца, мы нашли в себе человека. Это — ни грубый зверь, жаждущий крови, ни расчетливый горожанин, — это — чистою плотью и любовью живущий человек.

Такою законною, необходимою и неизбежною являлась здесь нагота прекрасных и юных тел, что неохотно потом надета была скучная одежда. Но еще долго сестры кружились нагие, и входили в воду, и лежали на траве в тени. Приятно было чувствовать красоту, гибкость и ловкость своих тел в этом окружении тел нагих, сильных и стройных.

Для наблюдательного взгляда Елисаветы эти обнаженные, веселые девушки-учительницы легко различались на два типа. Одни были восторженные, другие лицемерные.

Восторженные воспитательницы Триродовской колонии с вакхическим упоением отдавались жизни, брошенной в объятия непорочной природы, ревностно исполняли весь обряд, установленный в колонии, радостно совлекали с себя стыд и страх, поднимали труды, подвергались лишениям, и смеялись, и пламенели, и страстную томилась жаждою подвига и любви, жаждою, которую не утолят воды этой бедной земли. И были в их числе опечаленная Надежда и горящая восторгом Мария.

Другие лицемерные были девушки, которые продали свое время и поступились своими привычками, склонностями и приличностями за деньги. Они притворялись, что любят детей, простую жизнь и телесную красоту. Притворяться им было нетрудно, потому что другие были им верными образцами.

Сегодня сестер провели и в здания колонии. Показали все, что успели показать в один час: вещи, сделанные детьми, — книги и картины, — предметы, принадлежащие тому или другому из детей. Показали сад с фруктовыми деревьями, с грядками и с клумбами, с пчелиным гудением, с медвяным запахом цветов и с нежною мягкостью густых трав.

Но уже торопились сестры и скоро ушли.

Они хотели идти домой, но как-то запутались в дорожках и вышли к дому Триродова. Увидела Елисавета над белою стеною высокие башни, вспомнила некрасивое и немолодое лицо Триродова, и сладкая влюбленность, как острое опьянение, жутко охватила ее.

Незаметно подошли совсем близко к усадьбе Триродова. Идти бы им домой. Нет, остановились под белою стеною, у тяжелых запертых ворот. Калитка была приоткрыта. Кто-то тихий и белый смотрел в ее отверстие на сестер зовущим взглядом. Сестры нерешительно переглянулись.

— Войдем, Веточка? — тихо спросила Елена.

— Войдем, — сказала Елисавета.

Сестры вошли, — и попали прямо в сад. У входа они встретили старую Еликониду. Она сидела на скамье близ калитки и говорила что-то неторопливо и невнятно. Не видно было, кто ее слушал. Может быть, сама с собою говорила старая.

Старая Еликонида прежде нянчила Кишу. Теперь она исполняла обязанности экономки. Она всегда была угрюма и в разговорах с людьми не любила тратить лишних слов. Сестры попытались было погово-

речь с нею, спросить ее кое о чем — о порядках в доме, о привычках Триродова, — любопытные девушки! Больше спрашивала Елена. Елисавета даже унимала ее. Да все равно, ничего не удалось узнать. Старуха смотрела мимо сестер и бормотала в ответ на все вопросы:

— Я знаю, что знаю. Я видела, что видела.

Подошли тихие дети. Под тенью старых деревьев стояли они неподвижно, как неживые, и смотрели на сестер безвыразительным, прямым взором. Жутко стало сестрам, и они поспешили уйти. Вслед им слышалось угрюмое бормотание Еликоницы:

— Я видела, что видела.

И тихим-тихим смехом засмеялись тихие дети, словно зашелестела, осыпаясь, листва по осени.

Молча шли сестры домой. Теперь они вспомнили дорогу и уже не сбивались. Вечерело. Сестры торопились. Влажная и теплая липла к их ногам земля, точно мешала идти скоро.

Уже сестры были недалеко от своего дома, как вдруг в лесу встретили Острова. Казалось, что он ходит и что-то высматривает. Завидевши сестер, он метнулся в сторону, постоял за деревьями и вдруг быстро и неожиданно подошел к сестрам, так неожиданно, что Елена вздрогнула, а Елисавета гневно нахмурила брови. Остров поклонился с насмешливою вежливостью и заговорил:

— Могу я вас спросить кое о чем, прелестные девицы?

Елисавета спокойно поглядела на него и неторопливо сказала:

— Спросите.

Елена пугливо молчала.

— Гуляете? — опять спросил Остров.

И опять ответила Елисавета коротким:

— Да.

И опять промолчала Елена. Остров сказал полувопросительно:

— Близко здесь дом господина Триродова, если не ошибаюсь.

— Да, близко. Вот по той дороге, откуда мы пришли, — сказала Елена.

Ей захотелось победить свой страх. Остров прищурился, подмигнул ей нахально и сказал:

— Благодарим покорно. А вы сами кто же будете?

— Может быть, вам не очень необходимо знать это? — полувопросом ответила Елисавета.

Остров захохотал и сказал с неприятною развязностью:

— Не то что необходимо, а очень любопытно.

Сестры шли торопливо, но он не отставал. Неприятен был он сестрам. Было что-то пугающее в его навязчивости.

— Так вот, милые девицы, — продолжал Остров, — вы, по-видимому, здешние, так уж дозвоьте вас поспросить, что вы знаете о господине Триродове, которым я весьма интересуюсь.

Елена засмеялась, может быть, несколько притворно, чтобы скрыть смущение и боязнь.

— Мы, может быть, и не здешние, — сказала она.

Остров засвистал.

— Едва ли, — крикнул он, — не из Москвы же вы сюда припожаловали босыми ножками.

СЛАЩЕ ЯДА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Два гимназиста шли домой по аллее Летнего сада дремотного уездного города Сарыни и равнодушно посматривали на величавые дубы. Мальчишкам не жаль было желтых листиков, которые начали падать на сыроватый после утреннего дождя песок. Они были заняты разговором, особенно один из них, лет семнадцати, в потертом мундире, порыжелой фуражке, тусклых и морщинистых сапогах. Руки его велики и грубоваты, угреватое лицо добродушно, серые маленькие глаза смотрят иногда восторженно и умно. Имя его — Владимир Гарволин. Другой, Евгений Хмаров, — щеголь. Мундирчик на нем новенький, сшит превосходно. Лицо и руки Хмарова белые, с нежною кожей. Он высок для своих шестнадцати лет, — выше Гарволина на полголовы, — строен и красив. Его лицо портит высокомерная усмешка, которая не идет к мягким очертаниям рта и подбородка.

Гарволин горячился и пылко говорил:

— Связи, карьера — вот ты о чем мечтаешь. А все это — ужасная чепуха! Миллионы людей обходятся без связей и не помышляют ни о какой карьере. А мы, черствые эгоисты, воспитанные на народные трудовые деньги, вместо того чтоб помнить свой долг перед народом, думаем о том, как бы получше устроиться.

Хмаров шел немного впереди и насмешливо улыбался.

— Идеалист! — сказал он наконец. — Что мне за дело до народа? Он сильнее меня, и тебя, — и всех нас, — пусть сам о себе позаботится. Любовь — штука хорошая, что и говорить, — только ею сыт не будешь. Любить можно по-настоящему только тогда, когда обеспечен.

— Да пойми, что любовь прочнее всего обеспечивает жизнь! — энергично воскликнул Гарволин.

— Как бы не так! — возразил Хмаров. — Вот я, например, люблю сигары. А без денег какие сигары?

— Экий ты циник! — с кротким негодованием сказал Гарволин.

Смуглые щеки его покрылись румянцем. Хмаров говорил:

— Ничего не циник. И женщины денег стоят. К ним, брат, без подарков лучше и не суйся.

— Ты клеветашь на женщин! — сказал Гарволин.

— Ну нет, брат, уж это-то я по опыту говорю, — хвастливо возразил Хмаров и молодцевато огляделся вокруг бойкими, серыми глазами, в которых было что-то блудливое.

«А в самом деле, — подумал он, — надо подарить что-нибудь Шанечке. Дитя! ее и это еще позабавит».

— Вот только безденежье наше! — сказал он вслух, и по его лицу пробежала гримаска озабоченности.

— Вы богато живете, — заметил Гарволин. — Чай, здорово денег просаживаете.

— Что делать! Нельзя же нам жить как-нибудь. Ведь мы не какие-нибудь... мешане.

— Эх вы, барская спесь!

Хмаров надменно усмехнулся.

— Однако прощай, — сказал он. — Мне тут подождать надо.

Гимназисты остановились на площадке сада. Гарволин вздохнул и угрюмо глянул в сторону.

— Шаньку Самсонову ждешь? — спросил он искусственным басом.

— А ты почему знаешь?

— Секрет-то не того... не велик.

— Да, брат, жду: просила здесь подождать, когда пойдет из гимназии.

— Что ж, ты с ней всерьез или так? — сумрачно спросил Гарволин.

— Шутить чужими чувствами — не в моих принципах, — внушительно ответил Хмаров.

— Ишь ты!

— Да. Вот видишь, почему я думаю о карьере: на моих руках не одна моя судьба. Не для себя самого я хочу сделать карьеру, а для любимой девушки.

— Девчонка еще она, да и ты, брат, зелен.

— За свои чувства я ручаюсь, — пылко ответил Хмаров, краснея, — а она, — она, брат, лучше всех женщин, какие когда-нибудь жили.

Голос его зазвенел юношеским восторгом, и холодные глаза тускло блеснули.

— Ну давай вам Бог! — безнадежно сказал Гарволин.

Хмаров внимательно посмотрел на него и спросил насмешливо:

— Ты что ж, тоже влюбился?

Гарволин махнул рукою, пожал руку Хмарова и торопливо пошел прочь.

«Бедняга! — подумал Хмаров. — Что делать, женщины ценят внешность, уважают самоуверенность, смелость».

Он смахнул со скамейки пыль тонким платком и сел. Лениво снял он фуражку и провел рукою по светлым, коротко остриженным волосам. Гарволин отошел несколько шагов, понурился и широко махая красными руками. Внезапно он остановился, круто повернулся к Хмарову и крикнул:

— Я пойду к Степанову, не зайти ли за тобой?

— Ах да, — встрепенулся Хмаров, — он все еще валяется?

— Не встает.

Хмаров подвинулся на скамейке, уселся поудобнее, протянул ноги и сказал:

— Экий бедняга! Я бы пошел, да ведь ты знаешь, мои дамы такие мнительные.

— Махни по секрету! — посоветовал Гарволин.

— Неудобно, — кто-нибудь увидит, — они от одной мнительности, пожалуй, захворают. Уж я лучше после.

— Как знаешь, — сказал Гарволин и повернулся было уходить.

— Послушай! — окликнул его Хмаров.

— Ну? — диким голосом спросил Гарволин и наклонил к Хмарову правое ухо.

«Экий медведь», — подумал Хмаров, улыбнулся и сказал:

— Я хотел тебя спросить, не нуждается ли он в чем.

— Да уж в нас с тобой не нуждается, не беспокойся, — грубо отрезал Гарволин и пошагал дальше.

По тому, как он пошевеливал плечами и размахивал руками, видно было, что он сердится.

Хмаров прислонился к спинке скамейки и закрыл глаза. Черноглазая девочка представилась ему, — смуглое личико с бойкою улыбкою и веселыми глазами. Он плотнее сжал глаза, всматривался и улыбался. Милые очертания смеялись, жили, сочные губы шевелились неслышными словами. А тепловатый ветерок веял, увядающие листья изредка падали с грустным, еле слышным шорохом.

Вдруг услышал он скрип песчинок, шелест юбочек и говор девочек. Гимназистки, — судя по голосам, их было пять или шесть, — прощались. Знакомый голос звенел задорно. Вот они разошлись, знакомые шаги направились к Хмарову.

— Шаня! — воскликнул он и открыл глаза.

Перед ним стояла красивая девочка лет четырнадцати, рослая и крепкая. Несколько дикая веселость брызгала из каждой черточки смуглого лица, по которому беспрестанно пробегали смешные, милые гримасы. Загорелые щеки говорили об избытке здоровья. Большие черные глаза дерзко глядели из-под длинных ресниц. Полусросшиеся густые брови казались на первый взгляд слишком тяжелыми для веселого лица, но они соответствовали его твердым очертаниям. Шаня смеялась и хлопала руками.

— Какой ты милый, Женечка! — говорила она звенящим голосом. — Вот-то не ожидала тебя встретить.

— Ведь я сказал, Шанечка, что подожду: ты должна была верить, — сказал Хмаров с ласковым упреком.

— Ну а я так и думала, что ты улепетнешь к своим дамам, ан ты тут как тут.

Женя засмеялся, но сейчас же спохватился, нахмурился и строго сказал:

— У тебя, Шаня, прескверные манеры.

Шаня притихла, присела на скамью, сделала испуганные глаза и сказала слегка дрогнувшим голосом:

— У меня, Женя, прескверные дела, вот что лучше скажи.

— Да? — участливо спросил Женя и сел рядом с нею. — Провалилась-таки?

— Провалилась, — плачевно сказала Шаня и грустно опустила голову, хмуря брови.

— Как же ты так?

— Вот поди ж ты. Боюсь, что-то дома будет.

— Старик рассердится?

— Задаст он мне трепака, — печально сказала Шаня и вдруг засмеялась неудержимо и звонко.

— Ну да, трепака! — утешил Женя. — С чего так строго? Ах ты, легкомысленная головушка! Ты ленивая, если даже переэкзаменовки не могла выдержать.

— Вот еще новости — летом учиться! На то зима. И зимой-то зубрежка надоест.

— Ведь если так будет продолжаться, — усовещивал Женя тоном старшего, — то тебе и диплома не дадут.

— Не дадут, и не надо, — вот еще.

— Да, — согласился Женя, вздыхая, — вам, девочкам, диплом не важен. А вот нам приходится биться, — без диплома не пойдешь.

— Да я почти все сказала, — вдруг стала оправдываться Шаня, — а он так и норовит сбить. Что ж, дивья ему, он больше меня знает. Злючка, противный козел.

Шаня покраснелась, нахмурилась; ее бойкие глаза зажглись гневом.

— Да, — задумчиво говорил Женя, — эти господа слишком много берут на себя. В прошлом году наш латинист тоже повадился лепить мне двойки. А разве я виноват, что он не умеет преподавать? И дома у меня все удивляются, как такого болвана держат в гимназии.

— И у нас тоже все такие мумии, — недовольным тоном сказала Шаня, — совсем мало симпатичных личностей. Однако пойдем, что тут сидеть.

Женя проворно вскочил, ловко взял ее книги и пошел по аллее рядом с Шанею. Шаня посматривала на него и любовалась его бодрюю, красивой походкою.

— Зайдем в наш сад, Женечка, погуляем, — просительно сказала она.

— Право, Шанечка, — нерешительно начал Женя.

— Ну, хоть на полчаса! — нежно говорила Шаня и заглядывала в его лицо молящими глазами.

— Шанечка, мне домой пора.

— Боишься маменьки? — лукаво спросила Шаня, нагибаясь совсем близко к лицу Жени.

Женя обидчиво покраснел, а румяные Шанины губы дразнили его милою усмешечкою.

— Вовсе не боюсь, а будут беспокоиться.

— Ну, как хочешь, — грустно сказала Шаня и отвернулась.

— Ты, Шанечка, такая прелесть, что тебе ни в чем нельзя отказать, — нежно сказал Женя.

— Ну вот и спасибо, милый Женечка, — воскликнула Шаня, поворачиваясь к нему с радостною улыбкою, — а то некогда! тюфяк!

Она хлопнула его по пальцам загорелюю рукою и с мальчишескими ухватками запрыгала по дорожке.

— За тобой, Шанечка, я готов идти на край света, — только как бы тебе самой не влетело.

— Ну вот, очень я боюсь. Волка бояться, — в лес не ходить.

— Видишь, Шанечка, как я тебя слушаю: мне бы надо было еще в одно место, а я с тобою иду.

— Какое место? — живо спросила Шаня.

— Да тут гимназист есть больной, из нашего класса, Степанов. Он — бедный. Положим, у меня самого в кармане сегодня не густо, но все-таки... Может быть, он нуждается, не могу же я не помочь!

— Какой ты добрый, Женечка!

Женя самодовольно улыбнулся, но постарался принять равнодушный вид и с медленной важностью промолвил:

— Ну, пожалуйста, — я не люблю комплиментов.

— Но, — робко сказала Шаня, — ведь к нему можно после.

— Это уж решено, Шанечка, — великодушно ответил Женя, — к нему — вечером, теперь — к тебе. Я не умею тебе отказывать. Вообще я не люблю подчиняться чьим-нибудь капризам, но ты, Шанечка, другое дело.

— Я — другое дело! — крикнула Шаня, запрыгала и завертела Женю.

— Тише, тише, безумная, ведь здесь люди ходят, — унимал Женя, отбиваясь.

Шаня вытянула руки по швам и замаршировала по-военному. Женя укоризненно сказал:

— Ах, Шаня, когда ты отстанешь от этих манер.

Шаня повернулась к нему с покорною улыбкою.

— Ну, ну, не сердись, не буду. Никогда больше не буду, Евгений Модестович, — шаловливо шепнула она и нежно прижалась к Жене.

Женя быстро огляделся, — никого не видно, — охватил Шаню и неловко, по-детски, чмокнул ее в смуглую, горячую щеку. Глаза его за-сверкали. Шаня отодвинулась.

— Что за вольности! — стыдливо шепнула она, поправляя под шляпкою разбившуюся косу, и вдруг весело, но слишком нервно рассмеялась.

Им приходилось видеться крадучись: мать Хмарова считала неприличным для Жени общество мещанской девочки, дочери не очень богатого купца; она приказала сыну прекратить это знакомство. Но необходимость скрывать встречи подстрекала детей, — было им жутко и весело.

Шагов за пять до деревянных в будто бы русском стиле ворот сада Шаня остановилась и потянула назад, за кусты, Женю.

— Что ты? — спросил он.

— Твоя сестра! — шепнула Шаня.

Сквозь кусты виднелся через улицу забор небольшого сада, над забором — навес пристроенной к нему террасы, а под навесом стояла беленькая девочка лет тринадцати, с капризным, скучающим лицом и слегка вздернутым носом. Она пристально всматривалась в деревья Летнего сада.

— Как тут быть? — говорила Шаня. — С чего это она здесь торчит?

— Ревнует, — объяснил Женя.

Оба они заговорили шепотом.

— Ревнует? Что ты? — недоверчиво переспросила Шаня.

— Очень просто. Мы с ней были дружны; разница лет, конечно, сказывалась, но я все-таки любил ее позабавить. Ты знаешь, я иногда, когда в духе...

— О да, ты остроумный и любезный.

Женя самодовольно улыбнулся.

— Но теперь, ты понимаешь, я думаю только о тебе. Конечно, я иногда захожу к ней, но она мне, признаться, надоедает. Вот она и злится, и высматривает. Она еще совершенный ребенок.

— Мы вот как сделаем, — решила Шаня.

Ее глаза засверкали и засмеялись. Она зашептала таинственно, с видом заговорщицы:

— Я пойду мимо вас. Она увидит, что я одна, и успокоится: она же увидит, что я прошла, а тебя еще нет. А ты беги кругом.

— Ты, Шанька, гений! — восторженно крикнул Женя.

— Ш-ш! зеворот! услышит! — унимала его Шаня, махая на него руками.

— Молчу, молчу, — зашептал Женя. — Ну, я бегу.

Мальчик юркнул в кусты. Шаня прислушалась, постояла, хмурая брови, пока не затих шорох ветвей за ним, и пошла из-за кустов через ворота на улицу.

Глава вторая

Маша стояла на своей вышке.

— Послушайте, девочка! — надменно окликнула она Шаню.

Шаня подняла голову и весело засмеялась.

— А! — воскликнула она. — А я думала, это — целая барышня. Ну, слушаю, девочка, — что надо?

— Скажите, пожалуйста, — спросила Маша, обидчиво краснея, — куда пошел мой брат?

— Ваш брат? А кто такой ваш брат? — смеющимся голосом спрашивала Шаня.

— Пожалуйста, не притворяйтесь, — сердито сказала Маша. — Вы с ним были сейчас в саду, а он скрылся.

— Ишь ты, глазастая какая! — запальчиво закричала Шаня, покачивая голову. — Прыгала бы через забор, да и бежала бы за своим братом, а мне как знать, где он.

— Экая мужичка, — уронила Маша, стараясь выразить большое презрение.

— Миликтриса Кирбитьевна! — ответила Шаня и сделала кислую гримасу.

— Как ты смеешь так со мною разговаривать, уличная девчонка! — крикнула Маша.

Шаня прыгала и кривлялась.

— А коли ты такая важная, так и не связывайся с уличной девчонкой! — кричала она. — Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты!

— Вот папа скажет твоему отцу, чтоб тебя высекли.

— Ну ты еще и не посмеешь ничего своему отцу сказать, — тебе самой достанется: зачем на улице базаришь! фря курнося!

— Вот погоди, дворник с метлой придет, — сказала Маша, стараясь принять равнодушно-презрительный тон.

— Ай, ай, как страшно! — крикнула Шаня, отбегая. — Фискалишка презренная, забралась на вышку шпионить.

У конца забора Шаня остановилась, сделала Маше нос и крикнула:

— Жди себе братца.

Маша отвернулась, досадливо покусывая тонкие губы. Шаня убежала было за угол, но вдруг вернулась.

— Пока ты собачилась, — крикнула она, — твой брат домой пришел.

В самом деле, кто-то прошел по двору, но кто, Маша не успела заметить: дверь на крыльце уже затворялась. Маша обрадовалась и побежала домой. Но это был только почтальон, а Женя еще не возвращался.

На перекрестке двух улиц, безнадежно пустынных и грязных, Женя и Шаня сошлись, улыбаясь еще издали друг дружке и остановились посреди луж. Шаня передала мальчику разговор с Машею.

— Нажалуетса, — пробормотал Женя, нахмурившись.

— Не посмеет, — решительно сказала Шаня.

Ну да, не посмеет. Она про себя не скажет, не беспокойся, а наболтает, что видела нас вместе. Мать опять молебен отслужит.

— Молебен? — переспросила Шаня и звонко засмеялась.

— Это мы с отцом так называем, — начал объяснять Хмаров, и принувишее было лицо его опять заняло горделивым сознанием своего остроумия. — Она, видишь ли, начнет сцену: нервы и все такое. Будет пилить, пилить, точно все это нужно. Ну отец и говорит: начала молебен петь.

— Молебен петь, — смеясь, повторяла Шаня.

— Пожалейте, говорит, мои бедные нервы, — с внезапной злостью заговорил Женя, — а сама всем нервы надрывает. И тут еще дядюшка и тетюшка.

Они пробирались по грязной улице. Женя терся новеньким мундирчиком о рогатые изгороди, слаженные из осиновых жердей, и шлепался модными сапожками в мутные лужи. Шаня выбирала сухие местечки по другой стороне улицы.

— Экая трушоба! — раздражительно сказал Женя. — Точно не может твой отец мостков набросать.

— Иди сюда, — звала его Шаня, — там сапоги загваздаешь.

— Везде одинаково мерзко, — брюзгливо отвечал Женя.

Он видел отлично, что там, куда зовет его Шаня, гораздо лучше, — но продолжал идти по своему пути с тем упрямством, которое заменяло у него характер.

На выезде из Сарыни стоял двухэтажный дом нелепой архитектуры, с разбросанными вокруг хозяйственными постройками. Прежде это была помещичья усадьба, к которой принадлежала подгородная деревня Ручейки. Во время дворянского упадка усадьба досталась Самсонову. На ту улицу, где шли Женя и Шаня, выходил фруктовый сад, огороженный тыном, а дальше парк с прудами, протоками, мостиками, беседками, цепкими кустами давно не подстригаемых акаций. Дорожки заросли травой, но пруды были расчищены, — Шаня любила кататься на лодке. Были для нее и качели, была горка, которую зимой приспособляли для Шанькиных салазков.

Шаня и Женя дошли до низенькой изгороди парка.

— До калитки далеко, — сказала Шаня, осторожно перебираясь через улицу, — перелезем: здесь невысоко.

— Полезем, — согласился Женя и повернулся к изгороди, выбирая место поудобнее.

Но едва он поставил ногу на перекладину, а другую занес поверх изгороди, как вдруг в парке послышался неистовый лай: два свирепых пса бросились на Женю. Женя вскрикнул и соскочил прямо в лужу. Брызги обдали его. Сделавши прыжка два по лужам, он остановился: ноги подкашивались. Сквозь лай еле слышал он крик Шани, унимавшей собак, и ее серебристый смех. Собаки угомонились. Женя сообразил, что опасность миновала. Он взглянул на свою забрызганную одежду: на колене зияла прореха, — должно быть, зацепился, соскакивая с изгороди. Сердито хмурясь, он полез в парк, где уже поджидала его Шаня.

— Глупая привычка — вечно скалить зубы, — сделал он выговор Шане.

Шаня перестала смеяться.

— Боже мой! — воскликнула она. — Ты весь перепачкался. Новый мундир, — а его так залюхал. И разорвал.

Она бросилась было обтирать его мундирчик рукавами своей кофточки, но Женя хмуро отстранил ее и проворчал сердито:

— Ну, большая беда! Ведь я — не Гарволин, у меня не одна перемена.

— Это все я виновата, — горестно говорила Шаня, — мне бы надо было вперед пойти. Экая я дура!

— Оставь ты, пожалуйста, мужицкую манеру бранить себя! — крикнул Женя.

Шаня с удивлением посмотрела на него.

— Чего ты? ведь я не тебя!

— Гораздо естественнее других ругать, чем себя.

— Ты испугался, Женечка?

— Совсе не испугался, — я вздрогнул от неожиданности. У меня нервы не из канатов. Твои собаки дождутся, что я их задушу руками.

— Ну да, задушишь, — а сам убежал.

— Да ведь они могли быть бешеными. Глупо драться с собаками, их на дуэль не вызовешь.

Шаня захохотала и долго потешалась, представляя, как Женя стреляется с Барбосом. Женя натянуто улыбался. Шаня повела его к яблонам, во фруктовый сад.

— Вот у вас свои яблоки, а мы должны покупать, — сказал он Шане притворно-беспечным голосом.

Но он чувствовал, что голос его вздрагивает, и это было ему досадно.

— А у вас варят варенье? — спросила Шаня.

— Ну кто же в городе варит варенье! — пренебрежительно сказал Женя. — Это в деревне еще ничего, да и то, в сущности, это мещанство.

— А вот моя мама варит.

— Ну, у вас совсем другие нравы, — объяснил Женя.

— Ну конечно, — согласилась Шаня, — мы не по-вашему живем, — мы попросту, без затей.

Женя никак не мог отделаться от подозрения, что Шанька смеется над ним. Подсолнечники огорода, который был разведен Самсоновым за фруктовым садом, глупо пялились на него и говорили, казалось:

— Сплоховал, брат.

— Знаешь, — начал он объяснять, — я потому вздрогнул, что у меня нервы расстроены.

— Чем расстроены? — спросила Шаня.

— Ах, Шанечка, как ты не понимаешь! Я не девочка. Мне надо подумать о будущем, — в моих руках лежит и твоя судьба.

— Думают-то только знаешь кто? — спросила Шаня со смехом. — Индейские петухи да дураки.

Женя нахохлился.

— Все у тебя глупые шутки. Что ж, я — дурак, по-твоему?

— Ах, Господи, уж и рассердился! — воскликнула Шаня, кокетливо повертываясь к нему. — И вовсе не нервы, а просто ты — барчук изнеженный. Вот у тебя какая кожа тонкая. А вот я — толстокожая, у меня нет нервов.

— Ты думаешь, это хорошо? — спросил Женя. — Современный человек должен иметь тонкую нервную организацию.

— Так ведь откуда ее взять? — смиренно возразила Шаня. — На это надо уж так и родиться в дворянской семье.

— Да, конечно. Но тоже и дворяне, — бывают такие слоны!

Дети уселись под яблоней и ели яблоки. Узкая серенькая скамейка, длинная, на двух тумбочках, гнула и поскрипывала под ними.

— Что я тебе расскажу, Женечка, — заговорила вдруг Шаня. — У нас рядом девушка повесилась.

Шаня сделала паузу и посмотрела на Женю широко раскрытыми глазами.

— С чего? — спросил Женя, жуя сочную мякоть яблока.

— У нее был... дружок. Писарь полковой. Ну и обещал жениться, а сам женился на другой, а она от него уж...

— Понимаю, — сказал Женя. — Это всегда так бывает.

— Вот девушка ночью взяла да и повесилась в сарае.

— Ну, и что же?

— Ну, утром нашли ее, а только уж она вся мертвая, синяя такая, — так и умерла.

— Ну и дура! — решительно сказал Женя.

— Чем это дура? — обидчиво спросила Шаня.

— Чем дура? А вот чем: раз, что не надо было связываться с писарьком, — она должна была знать, что у этого народа не может быть благородных чувств.

— Только у вас, дворян, благородные чувства!

— Конечно. А второе: все же не к чему убивать себя.

— У тебя не спросилась, жаль.

— Вот и вышла дура. Что она этим выиграла?

— Что? — с недоумением переспросила Шаня.

— Да, что выиграла? Вот то-то, она должна была бороться за себя. А не могла, значит, она слабая натура, значит, туда ей и дорога.

— Ах, Женя, как ты говоришь. Теперь уж не нам судить ее.

— Все это вздор. Это уж теперь доказано, что жизнь — борьба за существование. Он воспользовался ее любовью, хорошо, — а она о чем думала? Ведь это с ее согласия было. Стало быть, он и прав. Кто умеет добиться своего, тот и прав, а ротозею не к чему и жить. Таков закон.

— Ну, закон. Кто его написал?

— Закон природы, открытый Дарвином. Он доказал, что мы все от обезьян приходим. Которые обезьяны были поумнее, те сделались мало-помалу людьми, а остальные так скотами и остались. То же и у людей: каждый заботится сам о себе, а кто не умеет, того затолкают. Выживают только субъекты, приспособленные к жизни, — слабые и себе, и людям в тягость.

Шаня посидела минутку молча и задумчиво, потом засмеялась, соскочила со скамейки, подпрыгнула, ухватила за толстый сук яблони и подтянулась на руках. У нее были сильные руки, да и вся она была сильная и ловкая, — ей никакого Дарвина не страшно. Радость охватила ее и заставила звонко взвизгнуть. Ну а Женя, конечно, нахмурился.

— Что за манеры! — проворчал он. — Ты ведешь себя, как мальчишка.

— Тебе, небось, завидно, — сказала Шаня, продолжая смеяться и прыгать.

— Что за слово «небось»!

— Чем же не слово?

— Вообще у тебя ухватки грубые и слова мешанские. Можно бы вести себя поприличнее.

Шаня обиделась и угомонилась.

— Мои слова не нравятся, так нечего со мной и говорить. Известно, я невоспитанная, ну так иди к барышням.

Шанины губы дрогнули, и на глазах заблестели слезинки. Женя почувствовал раскаяние.

— Шанечка, дорогая, — закричал он, бросаясь к ней, — не сердись: я — грубый, а ты — божественная, добрая.

Шаня и Женя забрались в самый дальний угол сада. Из-за изгороди видны были поля и вдали лес. Шаня прислонилась грудью к невысокому забору, счастливо вздохнула и тихонько промолвила:

— Как красиво!

Женя принял усиленно-равнодушный вид.

— Ну, — сказал он, — это веселит тебя потому, что ты еще мало что видела. Вот если бы ты побывала за границей, — так там есть местечки, в Швейцарии, например, на Рейне. Я во всех этих местах был, и в Италии, и во Франции, словом, везде.

— А в Америке был? — спросила Шаня.

— Нет, еще не был.

— Ну значит, не везде был.

— Ну кто же ездит в Америку! А ты была в Москве?

— Нет, меня никуда не возили, я только в Рубани была, а дальше и не бывала.

— Что Рубань! Только слава, что губернский город, — городишка самый захолаустный. Ты, значит, ничего хорошего не видела.

Шаня завистливо вздохнула.

— Когда я буду большая, — сказала она, — я везде, везде выезжу, — во всех городах побываю.

— Во всех городах нельзя побывать, — важно сказал Женя, — их очень много.

— Что ж, что много! А вы отчего нынче никуда не уехали?

— Ну мы порастрясли денежки, — досадливо сказал Женя, — мой папа умеет это делать. А заграница кусается. Вот здесь и киснули все лето.

— И ты жалеешь? — кокетливо спросила Шаня.

— Зато я с тобой, Шанечка, познакомился.

— Но ведь это не так интересно, как зараница!

— Милая Шанечка, ведь ты знаешь, что я тебя люблю.

— Ты сам-то давно ли это знаешь?

— Да ведь мы еще недавно знакомы, Шанечка.

— А ведь признайся, ты бы так и не догадался, что ты меня любишь, если б я сама тебя не навела на эту мысль?

— Конечно, — важно сказал Женя, — вы, женщины, больше нас понимаете в делах любви, — это — ваша специальность.

Глава третья

Сегодня Самсоновы обедали позже обыкновенного: Шанин отец только что вернулся из своей поездки в уезд. Он был не в духе. Шанька боязливо посматривала на него и старалась за обедом не обратить на себя его внимания. Но суровая фигура отца притягивала к себе Шанины взоры.

Полувосточный склад лица обличает в нем не чисто русскую кровь. Черные, густые, невьющиеся волосы начинают седеть. Черные глаза с желтыми белками мрачно блестят. Невысокий, узкий лоб, изборожденный глубокими прямыми морщинами, сжат у висков. Загорелое лицо имеет красновато-желтый оттенок. Плотный стан слегка сутуловат. От отца Шаня переводит глаза на мать: это — черноволосая и черноглазая женщина южнорусского типа, лет тридцати, еще совсем молодая на вид и красивая, — Шаня похожа больше на мать, чем на отца.

Марья Николаевна предчувствовала, что Шане достанется от отца, и была недовольна: хоть она и сама иногда колотит Шаньку, но не любит, чтоб отец это делал. А отец угрюмо молчал. Наконец он пристально посмотрел на Шаню. Она зарделась под его взорами. Отец угрюмо спросил:

— Ну что, перевели?

— Оставили, — робко ответила Шаня.

— Хорошее дело! Что ж, у меня шальные деньги за тебя платить? Вот как возьму венник...

— Вы только и знаете, — шепнула Шаня, ярко краснея.

Она знала, что отец может исколотить ее до полусмерти, но в ней сидит злобный дьяволенок, который подсказывает ей дерзкие ответы. Ей страшно, но дерзкие слова словно сами срываются с языка.

— Молчи, пока... — внушительно и грозно говорит отец.

А мать смотрит на нее с упреком и делает ей, незаметно для отца, знаки, чтоб она молчала. Но Шаня не унимается и ворчит:

— Никто так не обращается. Я — большая.
— А вот поговори у меня. Зачем сапоги в глине?
— Не успела снять, сейчас только пришла.
— А где была до таких пор?
— Известно где, — в гимназии. Где ж мне быть!
— Врешь, негодная! — крикнул отец. — Говори сейчас, где шлялась!
— Что ж, дома все сидеть, что ли! Уж и по улице нельзя пройти, и в саду нельзя погулять.

— Погруби еще! — грозил отец, и суровое лицо его бледнело.
— Чего мне грубить! Я дело говорю.
— Ну, чего отцу огрызаешься! — вступилась мать.
— Все же я не огрызаюсь. И вы еще на меня нападаете, чтой-то такое!
— Вот огрызок-то анафемский! — негодовала мать. — Ты ей слово, она тебе десять.

— Знаю, матушка, — заговорил отец, — ты все еще с мальчишкой Хмаровым хороводишься. Не пара он тебе. Форсу у них только много, а сами гольтепа такая! Вот они у меня в лавке товару набрали на столько, чего и все-то они сами не стоят, а платить не платят.

— Не украдут ваших денег! — запальчиво крикнула Шанька.

— Зачем красть! — с презрительною усмешкою возразил отец. — Не отдадут, — и вся недолга. Вот, слышно, переведут их отсюда, уедут из Сарыни, а там судись с ними.

— Вы обо всех по себе судите, так и думаете, что все обманывают.

— Что такое? — закричал отец, багровея. — Ах ты, мразь ты этакая, кому ты говоришь! Да я тебе голову оторву. Пошла вон из-за стола!

— Чтой-то, и поесть не дадут, — захныкала Шаня.

— Вот я тебя накормлю ужо березовой кашей. Вон, вон пошла!

— Да дай ты ребенку поесть, — сказала Марья Николаевна. — Успеешь еще накуражиться.

— Вон! — бешено закричал отец и стукнул кулаком по столу.

Посуда задрезжала. Шаня выскочила из-за стола, побледневшая, испуганная, уронила стул, метнулась было к матери, но, увидев, что отец тяжело подымается со стула, тихонько взвизгнула и бросилась к двери.

— Куда? — остановил ее отец свирепым криком. — В угол! На колени!

Шаня, дрожа, повиновалась. С расширенными от испуга глазами сунулась она в угол, неловко выдвинула из угла тяжелый стул, быстро опустилась на колени и уткнулась в угол побледневшим лицом. Отец опять сел.

«Изобьет! нет, авось не будет бить!» — боязливо соображала Шаня и чутко прислушивалась к тому, что делалось за ее спиной, — а сердце ее до боли сильно стучало в груди.

Отец и мать молча кончали обед. Шаня чувствовала на своей спине сочувственные взгляды служанки, приносившей и уносившей кушанье. Ей было стыдно стоять здесь и ждать, — чего? прощенья? расправы? Чем ближе подходил обед к концу, как слышала это Шаня по стуку ножей и посуды, тем боязливее и трепетнее замирало ее сердце. Ей вдруг вспомнилось, как мать перед обедом, когда они ждали отца, сказала ей:

— Иссечет он тебя, как кошку за сметану.

Эти слова настойчиво повторялись в ее мыслях. Нетерпеливый, расслабляющий страх пробежал холодной дрожью по всему ее телу.

Обед кончился. Отец молча подошел к Шане, тяжело ступая по паркету грубыми сапогами, и ухватил Шаню за ее толстую, круто сплетенную косу. Шаня отчаянно взвизгнула, откинулась назад, подняла было руки к голове и забилась беспомощно у ног отца, который тащил ее по полу.

— Да что ты, Степан Петрович! — закричала мать, бросаясь к мужу и отымая от него девочку. — Побойся Бога, что ты делаешь с девочкой! — Прочь! — бешено крикнул Самсонов, отталкивая жену.

Сильная и цепкая, она не поддалась. Толкаясь и осыпая друг друга ударами, возились они над Шанею, которая ползала по полу на коленях: коса ее была в руке отца, и она подавалась головою туда, куда тянул отец. Наконец, почувствовав, что отец держит ее слабее, она схватилась обеими руками за его руку, в которой была зажата ее коса. Он сильно тряхнул рукою, выпустил Шанины волосы, — Шаня отлетела по полу в сторону, ударилась об стул, быстро вскочила и убежала к себе. За нею неслись неистовые крики отца и матери. Марья Николаевна, обозлясь за Шаню на мужа, страстными криками изливала все, что накопило в ней злобы против него.

— Плут всесветный! — яростно кричала она, наступая на мужа. — Людей обманываешь, рабочих обчитываешь, коршун! Разразит тебя Господь за твои темные дела, — попомни мое слово.

Самсонов сердито отмахнулся от нее и отошел к другому концу комнаты.

— Мели, мельница! — злобно сказал он, стараясь сдержать гневную дрожь голоса. — Какие такие темные дела?

— Много за тобой грехов! — кричала Марья Николаевна, опять приступая к нему. — Завел полюбницу, ослезил меня, — греха не боишься, и стыда в тебе нет, — дочь-то ведь у тебя не маленькая, хоть бы пред ней постеснялся, греховодник старый!

— Тьфу, дура поганая! Говорить с тобой, — только черта тешить.

Он ушел в свой кабинет, яростно захлопнул дверь и заперся на ключ. Марья Николаевна продолжала кричать у его двери еще долго, — он не отвечал.

Шаня робко притаилась в уголке за свою кровать и уселась, вся скорчившись, на тот старый, расшатанный стул, на который всегда усаживалась она, когда чувствовала себя обиженной.

Косые лучи вечернего солнца неподвижно и печально озаряли знакомые, милые для Шани предметы ее тихого убежища. Издали доносились до нее бешеные отголоски ругани, но Шаня не прислушивалась к ним, не хотела прислушиваться. Ей было еще обидно, но слез уже не было на испуганно и гневно горевших глазах. Мечты зачинались в ее голове, ласковые и грустные. И чем больше вслушивалась она в них, тем дальше и глуше казались ей отголоски свирепой брани. Обиженным сердцем понемногу овладевало кроткое, ласковое настроение. Мечта кружилась около одного дорогого образа.

Красивый мальчик с гордою улыбкою, самоуверенный, умный, бла-

городный. Ему доступны вершины почестей, — он — дворянин, он важен. Она перед ним такая ничтожная и глупенькая. И он любит ее.

Ах, если б у нее вдруг сделалось прозрачное, эфирное тело! Сбросила б тесное платье, полетела бы к милому, легкая, воздушная. Не задержали бы ни высокие заборы, ни крепкие запоры. Сквозь стены проникла бы, как влажное дыхание, отклоняющее пламя пристенной свечи. Прилетела бы голубую тенью, никем не видимая, прильнула бы к нему, — нагие руки ему на плечи, нежные губы к его губам, — тихонько шепнула б ему: «Здесь я, милый мой!» — и тайными поцелуями опьянила бы, очаровала бы его!

Скрипнула дверь, разбились мечты, вошла старуха нянька, вынчившая еще Шанину мать. Теперь, хоть Шанька и подросла, а нянька все жила, уже четвертый десяток лет, при Марье Николаевне: она была «свой человек» в доме, хозяева ей доверяли, и она зорко охраняла хозяйское добро.

— Притулилась, ясочка ненаглядная, — нежным шепотом заговорила нянька, глядя Шаню по голове.

Шаня почувствовала боль в корнях волос, — память отцовской таски, — нетерпеливо тряхнула головою и опустила ее на деревянное изголовье. Ей стало досадно, зачем помешали мечтать, и она не хотела повернуть к няне недовольного лица. А нянька стояла над Шанькою, глядела на нее добрыми старушечьими глазами и утешала ее простыми, глупыми словечками. В странном беспорядке теснились в Шанином слухе и голуби, и генералы, и светики ненаглядные, — какая-то ласковая чепуха, — и Шаня поддавалась ее льстивому обаянию.

— Скажи, няня, сказку, — молвила она, глянув на няньку одним глазом.

Няня присела рядом с Шанею и заговорила сказку про какого-то вольного казака. Шаня не вслушивалась и мечтала себе о своем. Вдруг няня замолчала. Шаня открыла глаза и приподняла голову. Мать стояла перед нею.

— Мой-то сокол улетел! — сказала она няне.

Няня завздохала и заохала.

— К сударушке своей! — злобно сказала Марья Николаевна. — Ну а ты, Шанька, что сиротой сидишь? Подь к матери, — хоть я тебя приласкаю.

Марья Николаевна села на Шанину кровать и притянула к себе дочку. Шаня прильнула щекою к ее груди, — мать посадила ее к себе на колени.

— Ох, горюшко мне с тобой, — говорила она, поглаживая и похлопывая дочь по спине. — Все-то ты отцу досаждаешь. Вот сапоги-то все не переменяла, так в глине и шеголяешь.

Шаня соскочила с колен матери, села на пол и принялась стаскивать ботинки.

— Надень туфли, — сказала мать.

— Я лучше так, мамуня, — тихонько ответила Шаня, сняла чулки и опять забралась на колени к матери.

— И с ним-то горе, — говорила меж тем Марья Николаевна няне. — Я ли его, злодея моего, не любила, не лелеяла! А он, натко-сь, завел себе мамоху, старый черт!

— И на что позарился, — подхватила няня, — сменял тебя, мою кра-
лечку, на экое чучело огородное.

— Что уж он в ней, в змее, нашел! — досадливо говорила Марья Ни-
колаевна. — Чем она его обошла! Только что молодая, да жирная, что
твоя корова. Так ведь и я не старуха, слава Тебе Господи.

— И, касатка! — убедительно сказала няня. — Недаром говорится:
полюбится сатана пуще ясного сокола.

— Она — белая, — вдруг сказала Шаня, приподнимая голову.

— Ах ты! — прикрикнула мать, — с тобой ли это говорят! Не слу-
шай, чего не надо, не слушай!

И мать сильно нашлепала Шаньку по спине, но Шанька не обиде-
лась, а только плотнее прижалась к матери.

— И я-то дура! — сказала Марья Николаевна, — говорю при девке о
такой срамоте.

— Ох, грехи наши! — вздохнула няня.

— Что, Шанька, оттаскал тебя отец за волосы? И за дело, милая, —
не балахрысничай.

— Чего ж заступалась? — шепнула Шаня.

— Так, что уж только жалко. И что из тебя выйдет, Шанька, уж и не
знаю, — вольная ты такая. Только мне с тобой и радости было, пока ты
маленькая была.

— Я, мамушка, опять маленькая, — еще тише шепнула Шаня и за-
крыла глаза.

Марья Николаевна вздохнула, прижала к себе дочку и, слегка пока-
чивая ее на коленях, запела тихую колыбельную песенку:

Ходит бай по стене, —
Охти мне, охти мне.
Что мне с дочкою начать, —
Бросить на пол иль качать?
Уж я доченьку мою
Баю старому даю.
Баю-баюшки-баю,
Баю Шанечку мою.

Шане было грустно и весело, — душа ее трепетала от жалости к ма-
тери.

Вечерело. Вокруг дома пусто и глухо. Только изредка слышна трещотка
городского сторожа: это — двенадцатилетний мальчик, которого послал за
себя ленивый отец; слышен изредка протяжный крик мальчугана. Доно-
сится лай собак, их злобное ворчанье и глухое звяканье их цепей. В самом
доме — неопределенные шорохи старого жилья. Строго смотрят иконы в
тяжелых ризах, в больших киотах. Угрюма неуклюжая мебель, в строгом
порядке расставленная у стен. В холодном паркете тускло отражаются заты-
нутые тафтою люстры. Скучно и хмуро. От лампад, готовых затеплиться,
струится елейный, смиренный запах. Марья Николаевна опять жалуется
няньке, а Шанька опять слушает, тихонько сидя в уголке, и молчит.

Хоть и не бедны Самсоновы, а все-таки жизнь в их доме имеет оп-
ределенный мещанский уклад: просты отношения между обитателями

дома и наивно-откровенны; прост сытный обед и плотный ужин; просты наивно-плоские беседы и бесцеремонны домашние одежды.

В такой-то обстановке вырастает Шанька, шалуныя и своевольница, которую то балуют, то жестоко наказывают. Родители словно дерутся девочкою: когда отец бьет Шаньку, мать ее ласкает; когда отец ласкает дочку, мать к ней придирается и сечет ее иногда за такие пустяки, на которые в другое время и внимания не обратила бы. Но Шаня изловчается; она часто успевает-таки ладить и с отцом, и с матерью. И теперь в ее предприимчивой голове сквозь жалость и сочувствие к матери уже выясняется план, как бы и с отцом помириться.

Шаня — девочка быстрых, бойких настроений, счастливая, как радость, одним тем, что живет. Не может она долго печалиться, хоть бы и после того, как ее побили.

Глава четвертая

Спать ложились рано. В десять часов Шаня уже лежала в постели. Но она не спала. Окна ее комнаты были плотно занавешены, двери крепко заперты, и под дверями лежал скатанный половичок, чтобы не просвечивало наружу от свечки на столике около кровати. Шаня читала книжку, одну из тех, которые она тайком принесила домой для ночных чтений. Это были романы. Ими снабжали ее или Женя, или, чаще, Шанина подруга по гимназии, Дунечка Таурова.

Но сегодня Шаня читала недолго. Скоро она отложила книжку, замечталась, — о Женечке. Встречи с ним вспоминала.

Вспомнилась одна встреча, в первые недели их близкого знакомства, их милой дружбы. Познакомились-то они еще на Святках, но сдружились тесно только в начале прошлого лета.

Был такой жаркий-жаркий день. Так одежда и липла к телу. Уж так жарко! Хоть из речки не выходи, — благо близка речка и купанье удобное. Да вот только надобно постоять у калитки, подождать Женю, авось придет.

Женя, по сделанной уже им привычке, улучив свободный час, пробирался на своем велосипеде в сад к Шане. Шаня давно поджидала его у калитки. Но притворилась, что подошла только сейчас. Женя поклонился ей издалека. Шаня пригласила:

— Зайдите, Женечка.

Женя, улыбаясь любезно и радостно, соскочил с велосипеда и сказал: — Благодарю вас. Я хотел было проехать в лес. Но, если позволите, я очень рад поболтать с вами часочек.

Шаня, улыбаясь, открыла ему калитку. Женя вкатил свой велосипед в сад, глянул на Шанины легко загорелые ноги, затаившиеся в траве, и покраснел. Шаня лукаво улыбнулась. Сказала:

— Извините, я совсем забыла, что босая, так сюда и вылетела.

— Но ведь вы можете уколотся или порезаться, — сказал Женя.

Шаня засмеялась.

— Большая беда! — беспечно сказала она.

— Да говорят, что и неприлично барышне босиком ходить, — сры-

вающимся, неверным тоном говорил Женя, пристраивая свой велосипед в закрытой беседочке близ калитки.

— А я так часто босичком бегаю, — простодушно говорила Шаня. — Веселее. Это у меня — бальные башмачки.

— Шалуныя вы, Шанечка, — смущенно говорил Женя.

— Право, — говорила Шаня, — я люблю летом босиком ходить. Что ж такое!

— Разве вам позволяют? — спросил Женя.

— Конечно, позволяют. Что ж вы такое кислое лицо делаете? Неженка какой!

Шаня весело прыгала по песчаной дорожке, смеясь, дразня Женины взоры своими легко загорелыми ножками.

— Вы бы, Шанечка, обулись, — досадливо сказал Женя.

— Зачем это? — с удивлением спросила Шаня.

Тем наставительным тоном, который Женя так рано перенял от своих родителей, он сказал:

— Гостей встречать надо в полном наряде. А я — ваш гость.

Шаня громко засмеялась.

— Гость! Ах вы, цирлих-манирлих! — говорила она весело. — Просто вам стыдно, что я босиком. Вы — такой барич, и вдруг вас увидят с босою девчонкою.

— Ну, это вы напрасно! — обиженным голосом сказал Женя.

— Напрасно? — насмешливо спросила Шаня. — А признайтесь, Женечка, ведь вы подглядывали, когда я купалась?

Женя вспыхнул. Шаня угадала верно. Он бормотал смущенно:

— С чего это вы взяли, Шанечка! Разве это можно! Как это вы могли подумать!

Шаня смеялась:

— Да вы не бойтесь, — сказала она. — Я не сержусь. Я — не урод. Конечно, стыдно. Но я знаю, что вы любовались.

Женя приободрился и сказал увереннее:

— Шанечка, это — другое дело. У меня эстетически развитый вкус.

— То-то! — посмеиваясь, сказала Шаня.

Женя говорил все увереннее:

— Знаете, Шанечка, нагое человеческое тело — прекрасно, и смотреть на него — наслаждение.

— Что ж вы меня заставляете обуться? — спросила Шаня.

— Все не заставляю, — возражал Женя. — У вас прелестные ножки. На ковре в комнате очаровательно. А здесь вы их в глине пачкаете. Кожа грубеет.

— Хорошо, — согласилась Шаня, — ну я сейчас надену туфельцы. Подождите минутку.

Она убежала. Женя смотрел на ее легкий, быстрый бег.

Минуты через две Шаня вернулась уже в черных чулках и белых туфлях. И вдруг Жене стало досадно, что он не видит ее милых ножек. Шаня весело говорила:

— Ну вот, теперь хоть в Летний сад.

Потом все-таки Шаня нередко была босая при Жене. Ей хотелось, чтобы он полюбовался ее ножками. Уж если хвалит!

Улыбается Шаня, припоминает, как мать рассказывала ей про свой разговор с Евгением о том же. Евгений встретил на улице Марью Николаевну. Поздоровался. Сказал несколько слов. А потом вдруг:

— Что это у вас Шанечка босиком в саду бегаёт? Еще порежется.

Марья Николаевна спокойно отвечала:

— А что ж, коли ей хочется! Она еще небольшая, да и пускай себе ходит как хочет. По мне бы, я и в гимназию бы ее босую отпускала в теплые-то дни.

— Зачем же? — спросил с удивлением Женя.

— А проще-то лучше, батюшка, — говорила Марья Николаевна. — Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там нет ни одного. Глянька на иконы, — сколь много святых босыми ходили. Сама Богородица земли нашей не гнушалась, — столь, видно, простота Господу угодна.

Евгению этот мотив совсем показался неприемлемым. Он сказал с привычною для него относительно известных предметов насмешливостью:

— Шанечка у вас не святая еще пока, а вот ножки занозить может.

Марья Николаевна засмеялась и говорила:

— Уж очень ты нежный, батюшка, а она привыкла. Живое тело, — наколется, заживет.

Вспоминает Шанечка, улыбается.

Вдруг она услышала неясный шум открывающихся дверей и тяжелой отцовою поступи. Она мгновенно задумала смелое дело, — идти к отцу просить прощения. Тут был риск: или отколотит еще раз, может быть, выстегают, или приласкает, — и тогда она обеспечена от будущих неприятностей за то, что осталась на второй год в классе.

Шаня загадала, — идти или не идти: она будет считать до ста, и если в это время нигде ничего не услышит, то не пойдет, а если услышит, то пойдет. Она начала счет. Ей стало жутко, и она ускоряла счет, чтобы поскорее кончить, до первого шума. Она считала уже шестой десяток, как вдруг где-то далеко в городе раздался невнятный, глухой крик. Шаня вздрогнула, с разбега просчитала еще несколько и остановилась. Делать нечего, надо идти.

Шаня проворно вскочила с постели, набросила на себя платье, спрятала книгу, потушила свечу и тихохонько вышла босая в коридор. Придерживая рукою дверь своей комнаты, она остановилась и слушала, — везде в доме было тихо.

Тихо-тихо ступая, пошла она по неосвещенной лестнице, по темным комнатам. Вот и дверь отцова кабинета. Внизу ее светится щель, — значит, отец еще сидит.

Шаня прижалась ухом к двери. Ее сердце шибко колотилось. Неясный шелест еле слышался ей за дверью.

Внезапно решившись, Шаня стремительно открыла дверь, быстро подбежала к отцу и охватила руками его шею. Самсонов сидел у письменного стола и просматривал счета. На нем был засаленный халат, старый, много раз заплатаанный, из которого в некоторых местах лезла вата.

— Ты чего, оглашенная? — закричал Самсонов на дочку. — Чего тебя носит?

Шанька прижалась к нему и уселась на его колени.

— Да ты чего вольничаешь? — уже потише говорил Самсонов. — Аль забыла...

— Прости, папочка милый, не буду лениться, — вкрадчиво заговорила Шанька, ласкаясь к отцу и целуя его жесткую щеку.

— То-то, не буду. Разве у меня шальные деньги?

— Ты — богатый.

— Ну, ну, не так богатый. Положим, грех роптать. А — дело-то всяко бывает: вот маюсь, пока мышь голову не отъела, а завтра что еще будет. Посечь бы тебя надо, Шанька, — бормотал он, ласково поглядывая на красивое лицо девочки.

Он прижал к себе дочку, покачивая ее на коленях и подбрасывая вверх ее голые ноги. Шанька тихонько смеялась.

— Отлощить бы тебя хорошенько. Слышишь, Шанька, а? Хочешь, задам баню?

— Другой раз, голубчик папочка, — отвечала Шаня, вытаскивая кусочки ваты из отцова халата.

— То-то, другой раз, смотри ты у меня, разбойница. Еще как надо бы!

Глава пятая

Евгений, подходя к дому, озабоченно осмотрел испачканную, изорванную одежду. Ему стало досадно. Он думал: «Она не может и представить себе, легкомысленная Шанька, как это у нас неудобно и неприятно. Увидят, и сейчас начнутся жалостные разговоры. Надобно постараться проскользнуть незаметно».

Разговоры, на которые мог навести этот беспорядок одежды, особенно неприятны были теперь Евгению потому, что у них гостили приехавшие из Крутогорска брат его отца, Аполлинарий Григорьевич Хмаров, с женою. Дядю своего Евгений считал за человека очень умного и насмешливого и побаивался его язычка.

Проскользнуть незаметно не удалось. В передней случайно его встретила мать, Варвара Кирилловна, высокая, худощавая дама с величественным видом и с длинным носом. Она заметила и грязь, и прореху и пришла, по обыкновению, в ужас.

— Женья! Боже мой! — воскликнула она. — Но в каком ты виде! Посмотрите, ради Бога, на кого он похож!

С этими словами она повела его в гостиную, где собралась вся семья. Евгений имел сконфуженный вид: он не привык видеть себя в таком беспорядке. Сестрица Маша смеялась. Отец окинул Евгения удивленными глазами и сделал самую ледяную из своих улыбок, которая так шла к его видной, внушительной наружности.

— Хорош! — сказал дядя, высокий господин с длинными седыми усами, с бритым подбородком и с лукавым выражением лица.

А дядина жена, Софья Яковлевна, полная дама с блестящими глаза-

ми и нервно-быстрыми движениями, оглядывала его с выражением брезгливости и ужаса и восклицала:

— Испачкан, изорван! Но его поколотили уличные мальчишки.

Машина гувернантка, Елена Никитишна Сбойлева, угрюмо-кислая девица с длинным лицом, смотрела на Евгения злыми глазами и улыбалась язвительно.

— Где это ты? — спрашивала мать.

— Не лучше ли ему сначала переодеться? — обратился к ней Модест Григорьевич.

Евгений взглянул на отца с благодарностью и поспешил уйти. За ним звенел Машин смех.

«Один только отец умеет вести себя, — думал Женя, переодеваясь. — Только в нем есть эта холодная корректность, которая отличает».

Варвара Кирилловна не намерена была забыть про это неприличное происшествие. За обедом она опять спросила Евгения:

— Скажи, пожалуйста, где ты так перепачкался. И где ты изволишь прогуливаться?

Евгений успел сочинить подходящее объяснение и небрежно ответил:

— Я был у этого... Степанова. Потому и поздно.

— Это что за Степанов? — спросил Модест Григорьевич.

— Но я вам вчера говорил, — это наш гимназист большой.

Варвара Кирилловна встревожилась.

— Чем больной? — с обидою и со страхом в голосе спрашивала она. — И когда ты рассказывал? Я ничего не помню.

— Ты еще нас всех заразишь! — воскликнула Софья Яковлевна, брезгливо поводя своими пышными плечами.

— Ах, мама! — досадливо сказал Женя. — Я не пошел бы, если б это было прилипчиво. Надо ж навестить: они — бедные, может быть, я мог бы немножко помочь.

— Какая филантропия, скажите пожалуйста! — насмешливо говорила Софья Яковлевна. — А кто тебя там прибил?

— Никто не бил. Но, знаете, в этих захолустьях такая грязь, что надо иметь привычку там ходить. Мостки поломанные, — я ногу чуть не сломал.

— Потому, должно быть, тебя и провожала эта девчонка! — вмешалась Маша.

— Нельзя говорить «девчонка», — остановила ее Елена Никитишна, — надо сказать «девочка».

— Какая девочка, Женечка? — спросил дядя, улыбаясь и слегка прищуривая веселые, лукавые глаза.

Евгений покраснел. Елена Никитишна сделала обиженное лицо. Она сочла оскорбительным для себя, что никто не обратил внимания на ее замечание и что Аполлинарий Григорьевич повторил то самое слово «девчонка», за которое она остановила Машу.

— Не знаю, о чем она говорит, — сказал Евгений, пожимая плечами, — я один ходил.

— А краснеешь зачем? — спрашивал дядя.

— Нет, не один, — горячо возражала Маша. — С тобою была черно-

мазая девочка, гимназистка. Ты в кусты спрятался, а она мимо нашего дома прошла.

— Вот и неправда, — уверенно сказал Евгений, — ничего такого не было.

— Да ведь я видела, как вы с ней шли в Летнем саду, — говорила Маша.

Елена Никитишна опять остановила ее:

— Вы, Маша, совершенно напрасно смотрели на эту неприличную прогулку.

— Это, должно быть, опять та же Самсонова, — недовольным тоном сказал отец.

— Опять, Боже мой! — патетически воскликнула мать.

— Но я с ней только случайно встретился в саду! — невинным тоном объяснял Евгений. — И не мог же я убежать от нее!

— Какие скороспелые нежности! — воскликнула Софья Яковлевна, сверкая глазами и покрываясь румянцем негодования.

— Мы только немного прошли вместе и расстались. И я вовсе не думал прятаться. Я даже не сразу вспомнил. Что ж тут такого?

— Ах, это все та же мешаночка! — вспомнил и дядя. — Браво, Женечка, у тебя появляется постоянство во вкусах: не на шутку влюбился в свою сандрильону.

— Что ж, что мешаночка? — возразил Евгений. — У нее приданое есть.

— Много ли? — насмешливо спросила мать.

— Тридцать тысяч! — с весом сказал Евгений.

Мать пренебрежительно пожала плечами.

— Ну все же деньга... если только отец даст, — вступился дядя, лукаво усмехаясь.

— Не рано ли думать? — спросил отец.

— Это у нее собственные, — сказал Евгений, отвечая дяде.

— Да? — с некоторым вниманием спросила мать.

— Я все это у нее разузнал...

— Вот как! практично! — насмешливо сказал отец.

— Да что это такое! — засмеялась Софья Яковлевна. — Разузнал!

— Дело в том, — объяснял Евгений, — что эти деньги завещал ей дядя, ее крестный отец, и они хранятся в Крутогорске в конторе у дружка дяди, нотариуса Жглова.

— Непрочное помещение! — заметил дядя с тою же лукавою усмешкою.

— Вообще, — решила Варвара Кирилловна, — тебе, Женя, о таких вещах рано еще думать.

— Конечно, — подтвердил отец.

— Решительно прошу, — продолжала Варвара Кирилловна, — туда не ходить. Раз навсегда. Я не могу этого выносить, — пожалей мои нервы.

Когда Евгений после обеда ушел к себе, Варвара Кирилловна сказала:

— Женя у меня такой впечатлительный, а эта девчонка отчаянно его ловит. Нынче нет детей. Четырнадцатилетняя дрянь уже думает о женихах, — возмутительно!

— В их мешанской среде это так понятно! — говорила Софья Яков-

левна. — Да и вообще нынешние дети... И зачем вы отдали его в гимназию, — не понимаю. Там такое общество!

— Ах, куда же отдать! Здесь хоть на наших глазах.

Евгений прошел после обеда в свою комнату, в мезонине. Вспомнил разговоры за столом. Из всего, что говорилось за обедом, особенное впечатление на Евгения произвели и уязвили его дядины слова.

«Мещанка! — думал он, перебирая книги. — И все-таки она премилая. Конечно, она дурно воспитана, действительно по-мещански, — какие манеры и словечки! Но я ее перевоспитаю: она рада мне подчиняться, она меня так любит, бедняжка, — мне ее не трудно будет обломать. Любовь ко мне переродит ее».

Евгению вспомнилось, как они с Шанею пили «на ты», когда поближе познакомились и сдружились. То было в самую жаркую пору лета, в межень, как говорят у нас. День был ясный, тихий, знойный. Шаниных родителей не было дома. Шаня тихонько принесла в сад вино. Они забрались в баньку, которая стояла в глухом уголке сада: нельзя нести вино в парк, — далеко, а в баньке никто не увидит.

Евгению ясно вспомнились его тогдашние жуткие, томные впечатления: полусветлая банька с открытыми окнами, куда вливался из сада жаркий, душистый воздух сквозь ветви кустов, тесно лепившихся у стен, — бревенчатые стены, скамейки по стенам, вся странная для беседы обстановка места, где обыкновенно только моются, — сладкое, крепкое вино, — тишина, уединение, — Шанин нежный полусшепот, — ее быстрое, теплое дыхание и аромат вина, — отуманенные взоры, — взволнованная кровь и ярко зардевшиеся щеки, — жаркие руки, блуждающие, — вздрагивающие прикосновения, — ласковые Шанины улыбки, — долгие, смущенные поцелуи. За стеною смеются миллионы тихих и звонких голосов и шелестов, слышится задорный птичий писк по кустам, далекое жужжание пчел...

Евгений размечтался. Сладко и томно стало ему.

— Барин, чай пить пожалуйста, — услышал он за собою голос горничной.

Евгений посмотрел на смазливую девушку.

— Гости пришли, — сказала она.

— Ах, милая, ты сегодня преинтересная, — скучающим голосом проговорил Евгений и лениво провел рукою по ее плечу.

Она лукаво усмехнулась.

Глава шестая

Евгений сошел вниз. Его охватили привычные, бодрящие впечатления: свет ламп, красиво отраженный на обоях, на красивых одеждах, на лицах дам и барышень, — тихое позвякивание чайной посуды и еле различаемый аромат душистого чая, смешанный с тонким благоуханием духов, — оживленный, но негромкий разговор, приправленный и забавною сплетнею, и легким злословием по адресу отсутствующих, —

приветливые улыбки и любезные слова. Приятно было сознавать, что здесь собралось «лучшее» общество Сарыни.

Здесь были: уездный предводитель дворянства Ваулин, из отставных военных, господин очень вежливый, нарумяненный, затянутый в корсет, от которого его стан казался деревянным, — его дочь, девушка лет шестнадцати, со скучающим, бледным лицом, которое казалось немного припухлым, — директор гимназии Кошурин, длинный, веселый господин, недавно переведенный сюда из Петербурга и забавлявший дам не очень свежими столичными анекдотами, — его сын Павел, гимназист седьмого класса, румяный красивый мальчик, плотный, упитанный, выхоленный, хотя уже с некоторою раннею блеклостью кожи под глазами, большими, но несколько тусклыми, — седой полковник, — тучный судебный следователь, — и еще несколько офицеров, девиц и дам.

Павел Кошурин что-то доказывал в кругу молодых людей и барышень. Евгений подошел к ним.

— Все это так условно, — говорил Кошурин слегка дребезжащим, неустановившимся голосом переходного возраста, — нравственность, долг: что у нас нравственно, то в другом месте или в другое время безнравственно, и наоборот. А потому мы несколько не обязаны следовать тому, что кто-нибудь считает нравственным или хорошим.

— Конечно, — подтвердил Евгений.

— Надо стоять выше буржуазной морали, — пискнул молоденький офицерик с румяным и красивым лицом.

— Позвольте, — вмешался седой полковник, вслушавшись с своего места, — вот я вас спрошу, если бы вам представился случай украсть, вы бы ведь не украли?

— Разумеется, не украд бы, — ответил Евгений, пожимая плечьями.

— Ну вот видите, значит, не все так условно...

— Но позвольте, — горячо возразил Кошурин, — ведь я и каждый из нас почему не украли бы? Совсем не потому, что считаем это безнравственным. Не воруем, в сущности, мы только потому, что боимся, как бы нас не поймали.

— Нет, извините, — возразил полковник слегка обидчивым тоном, — это не о всех можно сказать.

— Или потому не воруем, — пояснил Евгений, — что боимся того, что нельзя будет воспользоваться краденым, а риск велик. Воруют только дураки, и почти всегда попадаютя, а умный человек не пойдет красть, но вовсе не потому, что это безнравственно, а потому только, что это невыгодно.

— Ну нет-с, позвольте не согласиться. Вы это изволите рассуждать так, вам нравится, может быть, смелые слова произносить, а из своего жизненного опыта могу вас уверить: есть люди, которые не воруют именно только потому, что гнушаются такой низостью.

В других местах тоже прислушивались к спору, и слова полковника вызвали сочувственные отклики.

— Вдруг бы мы пошли воровать! можно ли это себе представить! — восклицала Софья Яковлевна.

— Да, трудно представить кого-нибудь из нас в роли грабителя или мошенника! — с холодной усмешкой сказал Модест Григорьевич.

— Нет, молодой человек, — внушительно сказал седой полковник, обращаясь к Кошуруну, — люди нашего старого поколения твердо знают, что воровать — постыдно.

— Всякие бывают люди, — с усмешкой ответил Павел Кошурун, — а мы о себе только говорим: если б можно было украсть красиво и безопасно большой куш, я бы украл и не задумался бы ни на минуту.

— Ну, это так только говорится, для красного словца, — решил полковник и повернулся к тучному следователю продолжать с ним прерванную беседу.

— Этим господам нас не понять, — говорил Павел Кошурун барышням, — у нас совсем разные натуры. У людей прежних поколений все застыло в определенных формах. Они просто не смеют выйти из своих рамок. У нас развивается тонкая нервная организация: нам доступен такой мир, который им недоступен.

— Может быть, этот мир и им был доступен в молодости, — сказала Катя Ваулина.

— О нет: мы — совсем иное дело. Ведь они о чем в молодости мечтали? о славе, о любви, о благе народа, — какая чепуха, не правда ли? Вдруг ходили в народ. К этим пьяным, грязным дикарям. Зачем! Как это глупо! Нет, для нас в жизни существует только изящное, прекрасное. Мужики — скотоподобные. Мы их ненавидим. Жизнь должна давать нам наслаждения, иначе не стоит и жить.

— Да ведь и старички тоже наслаждались жизнью, — пыталась спотыкать Катя.

— Да, но наивно, грубо; они не выходили из рамок условного. Я вам приведу пример в цветах: им нравились яркие цвета, — красное, голубое, зеленое, — нам нравятся нежные, еле уловимые оттенки.

— О да! — согласилась Катя.

— То же и во всех чувствах. Мы улавливаем тонкие, неопределенные ощущения, которые им непонятны. То же и в искусстве: им нравится Пушкин, мы упиваемся туманными дымками фетовских стихов.

— Ах, стихи! Прочтите нам какое-нибудь свое стихотворение! — просительным голосом воскликнула молоденькая барышня в розовом платье и с наивным лицом.

— Да, да, пожалуйста! — просили и другие барышни.

Павел Кошурун улыбнулся небрежно и самоуверенно.

— Мне удалось на днях создать очень замечательное и оригинальное стихотворение. Я его прочту вам, если угодно, но в пояснение вам надо сказать несколько слов. Собственно, стихи и не следует объяснять, но я иду совсем особою дорогой, — я не подражаю никому, и потому вам мои стихи и могут на первый взгляд показаться не совсем ясными: в них надо вчитываться. Я, видите ли, довел свои нервы до такой чуткости, что начинаю видеть голубые вещи.

— Голубые вещи? что это такое? — восклицала розовая барышня.

— Это что-нибудь страшное? — опасливо спросила Катя Ваулина.

Кошурун снисходительно улыбнулся.

— Это, как бы вам сказать... Да это, впрочем, все видели, только не понимали. Помните, случается, что вам иногда что-нибудь покажется в углу комнаты, или на стуле, или на диване, какая-нибудь голубая тень. Вы подходите и приискиваете естественное объяснение: платье висит, или стоит зонтик, или что-нибудь лежит на стуле, — и вы успокаиваетесь. Вы уж привыкли находить такие объяснения и верите им.

— А если там ничего нет? — спросил розовый подпоручик.

— Ну, вы уверите себя, что вам только показалось. Но это и на самом деле прошла голубая тень, душа какого-нибудь умершего существа, — они всегда проходят мимо нас, только мы не хотим видеть.

Глаза барышень широко раскрылись.

— Но зачем же они ходят? — спросила барышня в розовом.

— Зачем? Может быть, они хотят к нам обратиться, сообщить нам что-то, а мы не обращаем внимания. Это, собственно, еще не самые души: когда человек умирает, его душа выходит, и она в голубой оболочке, которая легче всякой земной материи, — и эта оболочка еще долго живет на земле, пока душа от нее не освободится.

— Но, значит, их очень много? — боязливо сказала Катя.

— Ну не так много, — усмехаясь, ответил Павел Кошурин. — Ведь одни только дворяне бессмертны. Мужики издыхают, как скоты.

— Неужели? — воскликнула розовая барышня.

— Уверяю вас. Кстати, вы знаете, что мы ведем свой род от времен Ивана Грозного? Но я начал о голубых вещах. Голубых ясно можно видеть, если изодрать внимание.

— То есть если расстроить нервы, — опять вмешался полковник.

— Почему же расстроить, а не настроить? — спросил Кошурин, пожимая плечами. — Я начинаю достигать этого. Вчера в сумерках я сидел один у себя. Задумался. Было тихо. Сажу вот так, откинувшись на спинку кресла, руки протянуты на коленях, — и вот я вижу, подошла ко мне, тихо-тихо, голубая тень и стала близко... все ближе, — ближе, — наконец я чувствую на руках кончики ее крыльев.

Гимназист остановился и значительно смотрел на слушателей.

— Тень крылатая! — заметил Аполлинарий Григорьевич, который, вместе с другими, снова начал вслушиваться в речи румяного гимназиста.

— Прямо из высших сфер, — с веселым смехом сказал Кошурин-отец.

— Что же она говорила? — спросила Катя, доверчиво и испуганно глядя на гимназиста.

— Пока еще я ничего не слышал. Но вот слушайте мои стихи.

— Господа, — сказал Аполлинарий Григорьевич, — прошу внимания. Юный поэт прочтет свои стихи.

Все стали слушать. Кошурин-младший принял мечтательно-горделивую позу и торжественно продекламировал:

Вдохновенные руки бессильно томятся
на грустных коленях...
Замечаю внимательным взором движенье
в таинственных тенях...
Вдохновенье ль желанных сношений,
немая ли это забава, —

Голубая, прозрачная, тихо
 ко мне опускается пава.
 Голубое крыло над рукою моею
 колышется зыбко,
 А на клюве прозрачном дрожит
 незнакомая миру улыбка.

Катя в восторге смотрела на поэта. Седой полковник откровенно засмеялся, а Аполлинарий Григорьевич сказал, лукаво усмехаясь:

— Славные стихи. В наше время таких не писали. Только не пони-
 маю я, о чем грустят колени.

— Это, видите ли, передается впечатление, — небрежным тоном по-
 яснил гимназист. — Всякая вещь имеет свою физиономию, и члены че-
 ловеческого тела тоже.

— Позвольте спросить, — обратился к Кошуруну Ваулин, — почему
 именно вы изволите упоминать в ваших стихах паву, а не другую пти-
 цу, — орла бы, например?

— Извините, этого я не могу объяснить. Это надо почувствовать.

— Пава — это символ, — сказал Евгений.

— Символ чего, позвольте спросить? — продолжал любопытство-
 вать Ваулин, устремляя на гимназистов серые, пронизательные глаза.

— Символ чего-то такого... я не могу это выразить.

— Если хотите, — снисходительно объяснил наконец Кошурин, —
 символ гордого стремления к неизвестному. Я, по крайней мере, так
 объясняю себе. Но я должен сказать, что когда я создаю стихи, я не по-
 нимаю, что пишу.

— О да, это заметно, — очень любезно согласился Ваулин.

— Я на него уж и рукой махнул, — с веселым смехом заявил Кошу-
 рин-отец.

Павел Кошурин и Катя Ваулина сидели, уединившись, в уголке.
 Гимназист в чем-то настойчиво убеждал девушку, которая неопреде-
 ленно улыбалась и покрывалась слабым румянцем.

— Позвольте же, — воскликнул наконец гимназист, — прочесть мои
 стихи, посвященные вам. То, что я должен вам сказать, прозой не вы-
 ходит убедительно, — стало быть, это надо сказать стихами. Надеюсь,
 вы поймете или почувствуете. Слушайте.

Катя закрыла глаза и откинулась на спинку стула. Гимназист, близо-
 ко наклонясь к ней, продекламировал страстным полупшепотом:

Отодвинул я завесы плотные, —
 Запечатана тайная дверь.
 Беззаботные, безотчетные, —
 Отчего не теперь?
 Облелеял бы лаской блуждающей
 Я твою заповедную дверь.
 Утомляющей, утоляющей, —
 О, не бойся, поверь!

Кошурин кончил. Катя сидела с закрытыми глазами и словно ждала
 еще чего-то. Наконец она открыла глаза. В них было блудливое и же-
 лающее выражение.

ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА ЗМЕЙ

Богатый фабрикант, Иван Андреевич Горелов, с дочерью выезжал на дачном пароходе по Волге в город Сонохту для того, чтобы встретить на станции железной дороги своего брата и племянницу. Теперь вместе с ними он возвращался к себе домой на дачу возле фарфорового и кирпичного заводов. Ехали тоже на пароходе.

Павел Иванович Башаров был брат Горелова по матери. В братьях было много сходного и много разного. Горелов был полон и жив, лет пятидесяти, Башаров сух и сдержан, лет на пять моложе. Горелов охотно занимался и заводами своими, и своим великолепно поставленным садом. Башаров предпочитал быть рантьером и держал деньги в германских банках, — русским не доверял: боялся, что в России вспыхнет революция и что деньги из банков будут конфискованы.

Стоял жаркий летний день. Братья сидели на палубе парохода, разговаривали и любовались живописными берегами Волги. Милочка, дочь Горелова, и Елизавета, дочь Башарова, разговорились очень оживленно с худенькой, тоненькой девицей в элегантном костюме и в широкополой соломенной шляпе с белыми перьями.

Башаров вдруг забеспокоился.

— Что это за цаца? — спросил он брата, показывая на девицу.

Горелов всмотрелся и громко захохотал.

— Да это — Ленка, — отвечал он брату.

— Что за Ленка? — испуганно спросил Башаров.

— Из здешних, сонохотских, дочь мещанки какой-то голодраной. Четыре года тому назад она еще по улицам босиком шлендала, милостинку выпрашивала для прокормления родительницы, а потом вдруг с цирком увязалась, наездницей заделалась, — вишь, какая красавица стала. И не узнаешь.

Башаров сердито забормотал:

— Ну это, я просто не понимаю, что такое! Неужели Милочка не могла сказать Лизе! Что за компания для молодых барышень!

И он закричал тревожно:

— Лиза, Лиза!

Все три девушки быстро повернулись в сторону двух солидных господ, из которых один очень сердито смотрел на них, а другой хохотал весело и громко. Ленка сказала тихо:

— Елизавета Павловна, ваш батюшка сердится, зачем вы со мной разговариваете. Уж вы лучше идите к ним, — мы с вами еще встретимся в другой раз, без старших.

Елизавета быстро подошла к отцу, слегка кивнувши головой Ленке, и по лицу ее не было видно, что перерыв разговора неприятен. Милочка осталась разговаривать с Ленкой. Больше слушала, — Ленка рассказывала о своих приключениях, переездах, удачах и голодовках. Обо всем, удачном и неудачном, говорила одинаково легко и весело. Но Милочке казалось, что и теперь еще не совсем обсохли на худощавых, смуглых щеках нарядной наездницы росящиеся слезинки.

Кончая рассказ, говорила Ленка:

— Вот, урвалась на месяц, мать проведать, на Сонохту посмотреть. Ехала сюда, все здешнее вспомнила. Я переменялась, Сонохта все та же, ленивая да сонная. Пуховиками обложилась, пирогами объедается, распевы нищих слепцов слушает, — рвани да голи по-прежнему много. По дороге так думала, — поживу недельку, пойду к Светлому озеру. Девчонкой была, ни разу там не бывала, не собраться было. Ну вот, думала, нынче пойду. А как приехала, — думаю, — что я туда пойду? Грешными глазами все одно святых стен не увижу, грешными ушами святого благовеста не услышу.

— Никто не видел Китежа, — отвечала Милочка, — никто не слышал благовеста.

Ленка поглядела во все стороны быстро и тревожно, нагнулась к самому Милочкину уху и зашептала:

— Есть один человек, — его каждый год в святой день незримая сила восхищает и посреди града Китежа ставит.

2

Жена Горелова, Любовь Николаевна, и его сын Николай ждали его и гостей на пароходной пристани; а и вся-то пристань — ломаная барка, причаленная к берегу.

— Хотела выехать вам навстречу... — начала Любовь Николаевна.

Николай, студент четвертого курса и, по наружным признакам, балбес, перебил ее, ломаясь и кривляясь:

— Да задержали наиважнейшие хозяйственные заботы.

— А тебя что задержало? — спросила Милочка.

Как часто с ним бывало, сбитый с толку ее тоном, Николай на минуту потерял свою самоуверенность и не сумел ничего ответить. Горелов, громко хохоча, сказал жене:

— А мы с Павлом не успели встретиться, как уж опять сцепились спорить, — все на ту же тему.

— Насчет помещения капиталов? — спросил Николай.

Он был очень догадлив, когда шла речь о деньгах.

— В самую точку попал, — отвечал отец.

Продолжая оживленно разговаривать, пересекли песчаный берег, оживленный в час прибытия парохода, но уже готовый опять погрузиться в ленивую и сонную тишину, поднялись по крутой дорожке и вошли в гореловский сад. Сад содержался слишком хорошо. По тому, как хозяин поглядывал на гостей, видно было, что он гордился садом и всем, что здесь есть. С дорожек и с террас сада открывался очень кра-

сивый вид на Волгу и на недалекий город. Сквозь мгlistую даль золотые главы многочисленных церквей радостно и переливно блистали на солнце. Белые стены домов, раскинувшихся широко над Волгой, создавали впечатление успокоенной ясности, — светлее и чище, казалось, не предстал бы взорам и сам преславный град Китеж.

Но на все это великолепие Башаров посматривал скучающими глазами. Он только что возвратился с Ривьеры, где насмотрелся всяких естественных и искусственных красот. А русский человек не может поверить, что русские пейзажи не хуже заграничных. Башаров говорил обычным своим холодным и кислым тоном:

— Что ты там, Иван, ни говори, а я с тобой согласиться никак не могу. Хоть мы с тобой, как говорится, и братья, но, видно, мы оба не в мать, — ты в своего отца уродился, я — в своего, и на вещи мы с тобой смотрим совершенно различно.

— Чудак! — весело возразил Горелов. — Да ведь арифметика-то одинаковая, что у тебя, что у меня, — как ты на этот счет полагаешь?

— Кто ее знает, эту твою арифметику! — с кислой усмешкою отвечал Башаров. — В твоей арифметике, кроме сложения и умножения, есть еще вычитание и деление, а в моей нет. Единица и шесть нулей.

— Однако не рублей, а марок, — вставил Николай.

— Верных, честных германских марок, — отвечал Башаров с тем странным упоением, с которым русские люди хвалят чужое.

И по его лицу было видно, как приятно ему думать, что его сокровище лежит в Берлине, и как поэтому спокойна его душа. Не надо бояться никаких случайностей русской жизни, неурядиц, забастовок, волнений.

Не один Башаров, многие русские после событий 1905 года поместили свои капиталы в германские банки. В числе их были не только типичные буржуа, но и очень интеллигентные люди. Они довольствовались небольшим процентом, который казался им зато верным. Германцы были еще более довольны, — чужие деньги, в изобилии проливаемые русскими во множестве видов на германскую почву, были очень полезны для благоустройства германских городов и для процветания германской торговли и германской промышленности. Ах, глупость работает не плоше измены!

3

Вечером в помещении фабричного клуба был любительский спектакль и потом танцы. Актерами и актрисами выступали фабричные. Не искусно играли, но с большим увлечением. Так же танцевали они, без ловкости, но с азартом. Были и почетные гости: Николай Горелов с сестрою, Елизавета Башарова и ее жених, инженер Шубников, служащий на фабриках у Горелова. Все они усердно участвовали в танцах. Николай ухаживал за красивою работницей Верой Карпуниной. Тоже усердно, но без малейшего успеха.

Контрщик Пучков, красивый молодой человек с мечтательными глазами, которым странно и неприятно противоречил слишком легко-

мысленный галстук, розовый, с лиловыми крапинками, говорил Милочке в перерыве между двумя танцами:

— Правду ли говорят, что ваш дядюшка господин Башаров держит свои капиталы в берлинском банке?

Милочка посмотрела на Пучкова с удивлением. Спросила:

— Почему вы этим интересуетесь?

— Конечно, это — не мое дело, — говорил Пучков, — но только очень печально. Господин Башаров не один. А все эти миллионы оченьгодились бы на русской скудной экономической почве. Все у нас так неустроено, так везде много потребностей, много, извините за выражение, незаткнутых дыр, — каждая копейка пригодилась бы. А немцы и без нас богаты.

— Вы, конечно, правы, — сказала Милочка, — но что ж делать, если многие не доверяют русским банкам?

— И напрасно не доверяют, — возражал Пучков. — Если власть перейдет к пролетариату, ничьи деньги не пропадут. Рабочим чужих денег не надо. А что именно им надобно, это вы сами хорошо знаете, да и мы с вами неоднократно на эту занятную тему беседовали. Так часто, что, боюсь, надоел я вам такими разговорами.

Милочка молча улыбнулась. В это время, шурша новенькими платьицами, подошли две здешние работницы: Иглуша и Улитайка. Иглуша, хихикая, сказала:

— Барышня, хотите загадку загадаю? Николай Иванович никак не мог угадать, и господин Шубников не мог, а вы: может быть, угадаете?

Улыбчиво-простодушно было румяное Иглушино лицо. Милочка засмеялась.

— Скажите, Иглуша.

Красивая Вера и нарядная Ленка остановились тут же. Вера пренебрежительно сказала:

— Глупости!

— А ты знаешь отгадку, так не говори, — поспешно сказала Улитайка. Вера пожалала плечами. Стояла и слушала, усмехаясь, как взрослые слушают маленьких. Иглуша говорила:

— Вот загадка: когда мать у сына живет?

Милочка уже знала этот тип загадок-каламбуров. Подумала немного и сказала:

— Мать никогда усов не наживет.

Иглуша всплеснула руками.

— Скажите, пожалуйста, — угадали!

Улитайка поторопилась с другой загадкой:

— Ну, слушайте, я вам другую загадаю, — у вас на балконе ходят?

Поощренная первой удачей, Милочка эту загадку решила еще быстрее:

— У нас на бал люди ходят, а не кони.

— Вы знали раньше, раньше знали загадку! — кричали обе девушки враз.

— Глупости! — повторила Вера. — Что это за загадки! Подумала немного и разгадала. А вот, Людмила Ивановна, такие бывают загадки, —

всю голову разломит, а все ничего не придумаешь. И надобно решить, — хоть умри, да реши, — а решить-то и нельзя. А то придумаешь решение, да непременно окажется, что разгадка-то не одна, — несколько их, и одна другой хуже. Как в сказке говорится: направо пойдешь, дорогое себе потеряешь; налево пойдешь, головы не сносишь; прямо пойдешь, назад не вернешься; на месте застоишься, в соляной столб обратишься; а назад повернешь, в болоте завязнешь.

Милочка, тихо улыбаясь, сказала:

— О, Вера, как вы подробно разработали сказочный мотив!

Вдруг Милочкин голос дрогнул. Она порывисто ущипнула Веру под подбородком, притянула ее к себе и поцеловала. И, когда Милочкины глаза были близки к Вериным, Вере показалось, что она глянула в синее озеро слез. Милочка повернулась и быстро пошла в коридор. Вера догнала ее. Крепкой рабочей рукой придержала ее за обнаженный локоть и золотозвонящим голосом спросила:

— Друг мой, солнышко, или я тебя обидела больно? Что плачешь, Милочка? О себе не плачь, обо мне тоже не надобно, не хочу.

Милочка, вытирая слезы, отвечала:

— Да уж я и не плачу. Так вдруг в сердце укололо. Знаешь, Вера, если кожа сорвана с тела, пылинки ранит.

4

Так как у Башарова никакого практического дела не было, то он проводил жизнь, занимаясь наблюдениями и заботясь о чужих делах. С отношениями и обстоятельствами жизни в семье Гореловых он был хорошо ознакомлен, — по крайней мере, с внешней стороны, и в этот приезд очень быстро разобрался в том, что здесь случилось нового. И все новое ему не нравилось. Да и старое не пользовалось его симпатиями. Если он каждое лето приезжал к брату погостить несколько недель, то делал это просто по привычке, издавна усвоенной, по той странной привычке к туризму во что бы то ни стало, которая заставляет многих людей хорошего достатка вести кочевой образ жизни и большую часть года проводить вне того города, где находится их постоянное жилище.

Не нравилось теперь Башарову то, что здесь гостил профессор Абакумов, старый друг дома. Положим, Башаров и раньше часто встречался с профессором в этом доме. Но тогда постоянно с профессором бывала его жена, бойкая дама из здешних купчих. Теперь же Абакумов овдовел, и было что-то неприятное для Башарова в его гошении. Вставляли в памяти старые сплетни, чудилась какая-то опасность семейному благополучию. В чем дело, Башаров догадывался, но сказать о своих догадках брату пока не решался, — не было доказательств.

Не нравилось то, что Ленка зачастила к Милочке. Не компания, — это одно. А второе — Горелов начал засматриваться на Ленку, и дело могло принять обычный, при влюбчивости Горелова, оборот. Любовные приключения Горелова были бесчисленны. Они не мешали тому, что он нежно и почти благоговейно был влюблен до сих пор в свою же-

ну. Жена была для него святынею в доме, а любовные приключения — веселыми уступками всеильному бесу плотской похоти.

Не нравилось Башарову то, что Николай часто ходил на фабрику. По-видимому, он увлекался какой-нибудь из фабричных работниц. И уже Башаров досадовал на себя, зачем не пошел на фабричный бал, — увидел бы своими глазами. Елизавета же ничего не заметила. По крайней мере, ничего не рассказывала. А расспрашивать Башаров не хотел. Он предпочитал ставить себя в такое положение, чтобы сведения сами собою текли к нему.

Не нравилось и то, что Шубников еще служил у Горелова и, очевидно, сидел очень прочно и пользовался большим доверием. Башаров надеялся, что те несколько месяцев, в течение которых его дочь не виделась с Шубниковым, а также и многие новые интересные встречи и знакомства изгладят из Елизаветиной памяти образ красивого, самоуверенного молодого инженера. Но оказалось, что надежды его были тщетны, — Елизавета и Шубников встретились так, как будто между ними уже все было решено и они только ждут удобного момента, чтобы прийти к нему с неприятным разговором. Положим, перед Шубниковым могла быть очень хорошая инженерская карьера, — малый способный, работающий и знающий, — но для Елизаветы Башаров хотел бы более блестящей партии, человека уже с готовым положением в свете, а не пробивающегося еще в свет выскочку бог весть какого происхождения.

Не нравилось и то, что в саду ему часто встречался вместе с Милочкой молодой конторщик Пучков. Как только вечер, он уж тут как тут. Иногда и днем в свободное время забежит. Милочке его беседы, по-видимому, приятны. А Башарова все раздражало в нем, — и томный, мечтательный взгляд, и аккуратный костюмчик, и пестрый галстук, и тоненькая тросточка, и независимая манера, с которой Пучков помахивал этой тросточкой. Заговаривал с ним кое-когда Башаров, — ведь он же любил все знать верно, из первого источника, — и разговоры молодого человека ему не нравились независимостью суждений и чуть-чуть заметной ироничностью, с которой Пучков относился к его расспросам.

Однажды Башаров сказал Горелову:

— Зачем тут этот хаз лиловый ходит? Похаживает, тросточкой помахивает, с Милочкой о рабочем вопросе разговаривает, — подумаешь, — ровня!

Говорил тихо, потому что недалеко в саду, где все тогда были, стояла Милочка. Тихий голос Башарова был похож на потрескивание сухих хворостинок.

— Странное знакомство! — ворчал он. — Я бы на твоём месте не позволил.

Горелов отвечал ему так же тихо:

— Пустое! Все это пройдет, как ветром сдует. Запрещать хуже. Запретный плод слаще.

Милочка улыбаясь глянула в его сторону, и он заговорил еще тише, и слышалось, как будто по саду проносится с низким гудением большой мохнатый шмель. Не слыша слов, Милочка слышала только эти гудящие звуки, догадывалась, что отец говорит о ней, знала, что он говорит

о ней хорошее, и ласково улыбалась, глядя на озаренные солнцем счастливые дали.

Ах, счастливые, счастливые воды, чайки, шири, дали и небеса, голубеющие бездонно, и теплые веяния, напоенные ароматами лугов за рекой!

А Башаров потрескивал злобно:

— Вот неизбежное последствие этих слишком близких занятий фабрикой. Моя Елизавета, по крайней мере, с конторщиками не знает. А эти господа, — в шестнадцать лет уж он революционер.

5

Вечером были красивые огоньки пароходов и маяков на Волге. Горелов сидел в беседке-миловиде над крутым откосом берега. Видно было далеко, звуки доносились отовсюду ясные и проникнутые какой-то особенной свежестью и чистотой. Наверху по откосу, по дорожке в саду, шли Милочка и Пучков и разговаривали. Они говорили тихо, но Горелов слышал их последние слова. О том, что Маркс все-таки прав, а Зомбарт ошибается. Это говорил Пучков. Милочка что-то возражала.

У калитки они простились. Пучков пошел вниз, Милочка стояла и смотрела вслед ему. Горелов внимательно всмотрелся в нее. Подумал:

«Уж не влюбилась ли?»

И тотчас же эта мысль отпала. Нет, так влюбленная не глядела бы, — таким, хотя и сочувствующим, но все же критикующим взглядом. Горелов окликнул Милочку. Она глянула вверх, улыбнулась и вошла в миловиду. Горелов весело спросил ее:

— Просвещает?

И засмеялся. Хохотал долго и громко, так что эхо откликалось ему. Казалось, что далеко за Волгой кто-то озорной передразнивает его веселый хохот. Милочка улыбалась, молчала и краснела.

— Ты в него не влюбись, Милочка, — говорил Горелов. — Лучше в Шубникова. Дельный малый. Да нет, и в него нельзя.

— Почему нельзя? — спросила Милочка.

— В него Лизочка влюблена. Вот-то потеха будет, если вы в него сразу обе влюбитесь! Смотри, Милочка, ты из-за моего инженера не подерись с Лизочкой.

Милочка тихо отвечала:

— Папа, если мы подеремся с Лизой, то не из-за инженера.

Горелов перестал хохотать и внимательно посмотрел на Милочку. В его глазах мелькнуло даже некоторое опасение, — как бы не напророчить! Хотя Милочка держалась очень скромно и тихо, но отец-то хорошо знал, что она вся в него, и если рассердится, то себя не помнит.

— Знаю, — сказал он, — развоюешься, так только держись. Только за что тебе с Лизой ссориться?

— Я не собираюсь ссориться ни с кем, — отвечала Милочка, — но меня ужасно возмущает, как обращаются с Думкой.

Думка была молоденькая девушка, дочь сторожа при гореловской конторе. Училась на фельдшерских курсах в Петрограде. Башаровы да-

вали Думке у себя приют, и за это она должна была исполнять обязанности горничной при Елизавете. Башаров притворился того правила, что даром ничто не дается и что благотворительность развращает людей.

— Шалунья твоя Думка, — сказал Горелов. — Ей тоже воли давать нельзя.

— Она очень усердная, — возразила Милочка. — Сегодня утром я зашла к Лизе. Слышу крик ужасный. Смотрю, — Думка окоченела от страха, а Лиза за нею коршуном вьется и такими словами ее ругает, что у меня в глазах потемнело, я так разозлилась. Лиза уже собралась за Думкиным отцом посылать, но я решительно потребовала, чтобы она не смела это делать.

— Надо быть, за дело? — спросил Горелов.

— Да просто ее башмаки забыла вычистить, вот и весь криминал. Обвинила в лени, в нежелании работать, в неблагодарности.

6

Каждый день на стол подавались ананасы и дыни. Ананасы у Горелова были свои, из собственной теплицы. Горелов очень ими гордился и любил угощать ими гостей. Башаров ананасы любил, кажется, не столько на вкус, сколько за то, что они дороги. Но затеи оранжерейные своего брата всегда порицал. Говорил ему:

— Волжские ананасы, это, — ты меня прости, пожалуйста, — просто самодурство купеческое.

Но Горелову льстило, что ананасы у него превосходные, виноград великолепный, дыни первоклассные. На выставках он всегда получал медали за произведения своей теплицы. Правда, это стоило ему дорого. Тратил он на парники и оранжереи тысяч до пятнадцати в год. Но зато кое-что и продавалось, — несколько сотен ананасов, несколько пудов винограда, земляника, клубника, дыни, арбузы, яблоки, груша, малина, барбарис, еще несколько сортов из ягодного и плодового сада и из огородов. В удачный год все это давало тысяч до пяти.

Когда Милочка первый раз познакомилась с этими цифрами, она была очень удивлена. Ведь в доме съедалось фруктов не на десять же тысяч в год! Значит, был большой убыток. Чем же он покрывается? Отец объяснил ей, что убыток покрывают его заводы. Из этого Милочка сделала тот вывод, что все эти превосходные ананасы, дыни, яблоки и виноград принадлежат рабочим. Горелов много смеялся, когда Милочка познакомила его с этим своим выводом.

— Признайся, Милочка, — говорил он, — это ты от Пучкова такой мудрости набралась?

Смех отца смутил Милочку. Она пыталась разобраться в этом вопросе при помощи книг и разговоров. Ничего утешительного не выходило, и только сердце щемило от грустной мысли, — отчего же одним так много, а другим так мало? Отец был слишком уверен в несомненности своего права, и от его уверенности все то, что он ей говорил об этом, было совсем не убедительно для нее. Ведь во всем этом для него

не было никакого вопроса, не было потребности оправдать себя, а потому и не было никаких аргументов.

Аргументировать любил Башаров, потому что он вообще любил поучать и наставлять. Ведь у него же в Берлине прочно был помещен миллион марок, и от этой прочности помещения капитала и от несомненности вечного получения солидной ренты он казался самому себе необычайно умным и почтенным человеком; ему казалось, что он все знает и понимает лучше всякого другого. Он говорил:

— Тебя, Милочка, удивляет, что одни богаты, а другие бедны и голодны? Но это же так просто! Одни из рода в род работают, учатся, накопляют культурные богатства, приносят пользу отечеству, оживляют местный край, а другие против всего этого могут выставить только свою физическую силу. Ты говоришь, что они тоже работают? Да, работают. Но ты учти таланты, наследственную культуру, приносимую стране пользу и многое другое.

Милочка чувствовала, что это все — только слова и что настоящая правда только в том, что все это сложилось по каким-то неизбежным причинам и что люди ничего еще не научились ставить против безмерной всемирной власти золота.

7

Велели запрячь лошадей и поехали за версту от усадьбы в дубовый лесок на берегу, с которого открывался очень красивый вид на Волгу. Назвали это пикником, и было это предлогом для того, чтобы на вольном воздухе, в тепле и свете утреннего солнца выпить вина. Горелову еще и потому приятна была эта прогулка, что лес принадлежал ему.

На лужайке Думка и гореловская горничная хлопотали над угощениями. Николай дребезжащим баритоном пел:

Кто бы нам поднес, мы бы выпили!

Шубников подхватывал:

Рюмку водки, бочку хересу!

Башаров брюзгливо морщился и ворчал:

— Старо, старо и вовсе не интересно.

Милочка заботливо раскрывала какие-то коробки. Елизавета скоро ушла куда-то с Шубниковым. Вслед за ними ушел и Николай. Горелова с профессором Абакумовым сидели на краю обрыва и тихо разговаривали. Братья как приехали, так уселись на ковре и принялись за вино. Горелов сказал:

— Милочка, отрежь-ка нам по ломтику ананаса.

— Папочка, — с удивлением сказала Милочка, — разве ты не будешь завтракать? Сейчас разведут костер, сварим...

— Это для молодежи, — перебил ее Горелов, — а я есть ничего не стану, не хочется.

— Тебе, папочка, нездоровится, — тревожно сказала Милочка и посмотрела на отца вдруг испуганными глазами.

— В самом деле, Иван, ты что-то бледен, — сказал Башаров.

Лицо его пыталось выразить участие, но выражало только досаду, — что за удовольствие жить в доме, где есть больной! Горелов весело рассмеялся.

— Пустяки! Немного устал за последнее время. Надобно бы съездить куда-нибудь. Да уж вот осенью поеду. Ведь домосед, не то что ты. Да и дела держат. Но все-таки осенью урвусь.

Милочка принесла ему на блюдечке три ломтика ананаса, засыпанные сахаром. Башаров сказал:

— Дай уж и мне. Знаю, что испорчу себе аппетит. Да уж очень они у тебя вкусны.

Горелов радостно и гордо захохотал.

— А вот Милочка моя уверяет, что ананасы-то эти моим рабочим принадлежат. Милочка, вон там, — легки на помине, — три девицы. Кажись, из моих фабричных. Да больше-то и некому, городские сюда редко заходят. Милочка, не угостить ли их ананасами? Что скажешь?

— Кого, папочка? — сдержанно и смущенно улыбаясь, спросила Милочка.

— Да вот этих босоногих девчонок, — видишь, в моем лесу грибы собирают.

— Почему же нет, папочка? — ответила Милочка. — Чем они хуже нас? И ананасы им понравятся.

— Ну что ж, Милочка, позови их, угости ананасами, — смеющимся голосом говорил Горелов.

Но не стал ждать, пока Милочка дойдет до показавшихся вдали девушек, и закричал:

— Эй, вы, красавицы, подойдите-ка сюда!

— А зачем?

И голос этот был такой звучный, сочный и радующий, как будто человеческим голосом пропела обрадованная птица райская Сирийка.

— А вот подойдете, так узнаете, — кричал Горелов.

И он весь оживился и загорелся, и лицо его дышало одушевлением, точно этот звонкий девичий голос напоил его силой и молодостью.

— Придут, — сказал он уверенно и радостно.

Его одушевление заражало и Милочку, — она улыбалась ласково и светло. Башаров хмурился и ворчал:

— Не знаю, к чему это. Что за балаган!

8

Скоро из-за деревьев показались три девушки. Впереди шла Вера Карпунина, за ней Иглуша и Улитайка. На всех троих были надеты светленькие чистые юбки и блузки. Их загорелые лица были очень веселы. Голые до локтя красивые руки казались сильными, как руки олимпийских богинь или русских фабричных работниц не из голодающих. Их босые ноги ступали легко и свободно, загорелые и запыленные, — и этот дышащий здоровьем загар резко, но все-таки очень мило оттенялся тонами юбок и блузок. В руках у каждой было по корзине, из тех, с

которыми в деревнях ходят за грибами, а в городах — за хлебом, если он есть в лавках, а впрочем, и тогда, когда его в лавках не бывает. Вера шла уверенно и спокойно; она держалась очень прямо, как царица сказочной страны или как прирожденная русская крестьянка, одна из тех полевых Альдонс, в которых была влюблена суровая муза Некрасова. Ее сияющие бессмертной радостью глаза смотрели прямо на Горелова и на Милочку. Иглуша и Улитайка шептались, пугово и любопытно озирались, иногда фыркали от сдержанного смеха, отвертывались, закрывались руками или прятались одна за другую. Видно было сразу, что они пришли сюда только потому, что их привела Вера. Не будь с ними Веры, они давно убежали бы, услышав голос Горелова.

Пока девушки подходили, Николай и Шубников вернулись. Горелов знаком руки подозвал к себе Николая и тихо рассказывал ему что-то. Потом оба они залились хохотом, и громовые раскаты отцовского хохота сливались с резким ржанием Николая.

Девушки подошли совсем близко. Смех смутил их. Иглуша и Улитайка попятились. Вера нахмурилась, строго глянула на подруг и сказала тихим, густым, золотом звенящим голосом, строгая, как раскольничья начетчица или как весталка на форуме:

— Ничего, ничего, не бойтесь, девушки, не над нами хозяева смеются. Чего жметесь? Ведь мы не сами пришли, нас позвали.

Это было сказано так строго и внушительно, как лучше не могла бы сказать и сама гордая Марфа Посадница Новгородская. Милочка опустила глаза, как будто к лицу ее коснулось торжественное веяние кадильно пылающего огня. Но сейчас же, как бы обрадованная чем-то, подняла на Веру влюбленные глаза, и первое, что она увидела, — синие васильки в загорелой Вериной руке, на сгибе которой висела тяжелая, полная грибов корзина.

Смех затих. Пронеслось краткое мгновение молчания. Вера стояла прямая и гордая. Потом она степенно поклонилась всем, низко склоняя голову, но сохраняя при этом все тот же гордый и свободный вид. И сказала:

— Здравствуйте, господа! Ну вот, вы звали, мы пришли.

Иглуша и Улитайка вслед за ней торопливо поклонились, сдержанно смеясь, и видно было, что Верины слова сразу приободрили их. До того осмелели, что Иглуша даже сказала:

— Кликали зачем-то, вот мы и пришли.

9

Милочка быстро подошла к Вере, поцеловалась с ней, потом пожала руки Иглуше и Улитайке. Горелов во все глаза смотрел на Веру. Тяжелое вожеление уже начинало томить его. Слегка задыхающимся голосом он сказал:

— Ты, королева, подвинься-ка поближе. Как зовут-то тебя?

Вера подошла уверенными, быстрыми шагами и остановилась перед Гореловым. Горелов опустил глаза к ее ногам. Ему казалось, что лесной мох теплел под ее голыми ногами. Стало так тихо, что слышен

был гудящий звук пролетающей пчелы. Иглуша и Улитайка, робея остаться одни, сделали вслед за Верой несколько нерешительных шагов. Вера сказала:

— Я — Вера Карпунина, с вашей фабрики работница.

— Знаю, знаю, — оживленно говорил Горелов. — Это как в песне поется: «Вашей милости крестьянка, отвечала ему я». Твою мать знаю, тебя ни разу не видел. Постой, постой, вспомнил, — в школе, на выпускном экзамене ты отличалась. Красавица, красавица выросла. Поди, красивее тебя на фабрике немного същется.

Улитайка высунулась из-за ее плеча и крикнула:

— Ни одной не найдется!

Но сейчас же смутилась и спряталась. Горелов не сводил глаз с Веры и спрашивал:

— Ты что ж там, надо быть, писариха? На чашках розы малюешь?

— Что придется, цветы, фрукты, пестрых бабочек и пчел, Божьих работниц, — говорила Вера.

Видно было, что ее работа ей нравилась, она вспоминала ее с удовольствием, и самый звук ее голоса стал певучим и ласковым. Николай подошел к ней и, пожимая ее руку, сказал отцу:

— А ты бы посмотрел, папа, как она танцует! Прелесть, как хорошо! Не хуже любой сонохотской барышни.

— Что ж не танцевать! Не старуха, — спокойно отвечала Вера.

Горелов, беспокойно и суетливо двигаясь, ужаленный тайным желанием, говорил все тем же тревожным голосом:

— Ну что ж, пришли, так будьте гостями. Милочка, угощай их ананасами.

И, вспомнив Милочкины разговоры о его теплицах и парниках, захохотал так громко, что эхо откликалось ему, словно кто-то озорной и веселый, не то в лесу, не то за Волгою, передразнивал фабриканта. Девушки пугливо озирались. Милочка, улыбаясь, принялась резать ананас. Между тем Горелов расспрашивал девушек, как их зовут. Мудреные имена девушек позабавили его. Он спрашивал:

— Да как же вас поп-то крестил?

Оказалось, что крещеное имя Иглуши — Глафира, а Улитайка окрещена Иулианюю.

10

Заметив, что Милочка нарезала ломти ананаса и посыпала их сахаром, Горелов сказал девушкам:

— Ну, милые девушки, подходите, кушайте ананасы.

Башаров сердито ворчал. Это «кормление зверей» его прямо-таки возмущало и раздражало. Он согласен был сливаться с народом на национальном празднике в Париже или плясать с дебеолою баварскою крестьянкой на Терезином лугу во время октоберферста в Мюнхене, или целовать одетую в лохмотья и пахнущую морской солью и рыбой девушку в Таормине, или пить кислое и терпкое вино в трактирчике на пыльной площади Эрнани, испанского городишка под Сан-Себастьяном, — все это было в культурной Европе, и потому для него было по-

крыто лаком почтения. Но эти босые девчонки казались ему слишком первобытным зверьем. А если бы он знал, какие книги читает Вера и о чем и с кем она разговаривает, то его пренебрежение только осложнилось бы злобой ограниченного и революционно настроенного рантье.

А Николай находил все очень забавным и с нетерпением ждал, как девушки набросятся на дорогое лакомство. Он был уверен, что будет непомерно смешно. И так как он сам уже несколько недель ухаживал за Верой и не терял надежды поссорить ее с ее женихом, то ему, по грубости его натуры, особенно приятно было думать, что Вера не сумеет по-благовоспитанному скушать ломтик ананаса, захватит его прямо в лапы и жует вместе с чешуйками кожицы. Глаза его смешливо горели, когда Милочка, окончив свою работу с ананасами, позвала Веру и ее подруг. Вера заметила его смешливое настроение. Она багряно покраснела и досадливо сказала:

— Затем-то вы нас сюда и позвали! Я думала, за делом каким-нибудь.

А простодушные Иглуша и Улитайка обрадовались угощению. Смущенно подталкивая одна другую, они подошли к Милочке и неловко принялась есть ананасы. Даже не ждали на этот раз, что скажет или сделает Вера, уж так заманили красивые на вид, сочные золотистые ломтики. Но Николаю пришлось разочароваться, — при всей неловкости и при всем смущении девушек ничего смешного не было, и девушки не жевали звериным обычаем, а ели как полагается. Только уж очень торопились, от неловкости и от застенчивости. По их лицам было видно, что им нравится не столько вкус, сколько необычайность угощения. Как будто они все ждали, что вот-вот будет вкусно, и не могли дожждаться.

Горелов смотрел на них и хохотал. Он был уверен, что девушки не могут оценить вкуса ананасов, который казался ему необычайно изысканным, и что им гораздо больше понравилась бы морковь или репа. Потом вдруг он обратил внимание на то, что Вера отошла в сторону и стояла, опершись на тонкий ствол белой березы. Оттого ли, что Вера сумрачно глядела, стоя вдали, оттого ли, что где-то недалеко пронеслась, каркая, ворона, Горелову стало скучно. Он сказал Вере:

— Ну, а ты, королева, что же не подходишь? Кушай, не стесняйся.

И ему стало еще скучнее, когда Вера спокойно поблагодарила и ответила, что не любит ананасов. Он вдруг подумал, что эта гордая величавая красавица одевается бедно и ест грубую пищу, что, может быть, и теперь от нее пахнет луком. Он знал, что все его рабочие питаются не так, как он, и одеваются не так и что жилища их не роскошны, и все это казалось ему совершенно естественным, — грубые и простые люди, грубая и простая жизнь, одно другому соответствует, казалось ему. Он раньше не догадывался, что эти люди совсем не так грубы и просты, как ему казалось, и теперь, глядя на Веру, он только смутно чувствовал, что в надменной строгости этой босоногой красавицы есть какая-то великая правда. Захотелось доказать, что этой правды нет, захотелось сбить эту спесь. Он сурово сказал:

— Подойди-ка сюда, краля босоногая.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--------------------------------|------|
| ТЯЖЕЛЫЕ СНЫ | 7 |
| МЕЛКИЙ БЕС | 239 |
| ТВОРИМАЯ ЛЕГЕНДА | 431 |
| СЛАЩЕ ЯДА | 861 |
| ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА ЗМЕЙ | 1129 |